

АНТАНАС ШКЕМА

# БЕЛЫЙ САВАН

ВАЛТРУС ) проза



Антанас Шкема

**Белый саван**

«Новое издательство»

2006

## **Шкема А.**

Белый саван / А. Шкема — «Новое издательство», 2006

Сборник «Белый саван» знакомит российского читателя с прозой Антанаса Шкемы (1911–1961) – одного из самых интересных и значительных писателей литовской эмигрантской волны 40-х годов.

© Шкема А., 2006

© Новое издательство, 2006

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Белый саван                       | 5  |
| Вступление                        | 5  |
| 1                                 | 10 |
| 2                                 | 17 |
| 3                                 | 22 |
| 4                                 | 26 |
| 5                                 | 31 |
| 6                                 | 38 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 39 |

# Антанас Шкема

## Белый саван

### Белый саван

*Благословенны идиоты, ибо они  
самые счастливые люди на земле.*

*Чрезмерное мудрствование подобно глупости;  
чрезмерное краснбайство подобно заиканию.*

*Лао-цзы*

*Лапьяйский органист заикался при разговоре,  
но пел красиво.*

*Из людских пересудов*

### Вступление



В.М.Т. Broadway line<sup>1</sup>. Экспресс останавливается. Антанас Гаршва выходит на перрон. Время послеобеденное: без шести четыре. Он шагает по почти пустому перрону. Две негритянки в зеленых платьях наблюдают за выходящими пассажирами. Гаршва поднимает воротник своей шотландской рубашки. Почему-то мерзнут пальцы рук и ног, хотя в Нью-Йорке стоит август месяц. Гаршва поднимается вверх по ступенькам. Блестят начищенные мокасины. На правом мизинце – золотое кольцо, подарок матери, память о бабушке. На кольце выгравировано: 1864 год, как раз год восстания. Светловолосый дворянин почтительно замер, пав на колени у ног женщины. Возможно, я умру, досточтимая госпожа, если погибну, последними моими словами будут: я люблю вас, простите великодушно за дерзость, люблю тебя...

---

<sup>1</sup> Одна из линий Нью-Йоркского метро.

Гаршва идет по подземному переходу, направляясь на 34-ю улицу. В витринах стоят манекены. Ну почему в таких витринах не устраивают паноптикумы? Скажем, вот замер с серьезным видом восковой Наполеон, одна рука засунута за отворот сюртука, а рядом – восковая девушка из Вронх<sup>2</sup>. Цена платья – всего двадцать четыре доллара. Тук-тук-тук-тук. Сердце бьется слишком часто. Хочется, чтобы поскорее согрелись пальцы на ногах и руках. Плохо, когда мерзнешь перед самой работой. Зато в кармане таблетки. Значит, полный порядок. Большинство гениев были тяжело больны. *Be glad you're neurotic*<sup>3</sup>. Книгу эту написал Louis E. Bisch, M. D. Ph. D.<sup>4</sup> Два доктора в одном лице. Этот двойной Louis E. Bisch утверждает: Александр Великий, Наполеон, Микеланджело, Паскаль, Поп, Эдгар По, ОТенри, Уолт Уитмен, Мольер, Стивенсон – неврастеники. Список весьма убедительный. И заключают его: dr. L. E. Bisch и А.Гаршва.

Тут Антанас Гаршва сворачивает направо. Снова ступеньки. Слишком много этих ступенек, явный перебор. Неужели сюрреализм терпит крах? Пускай. Я построю костел святой Анны в Вашингтонском сквере (прав Наполеон, возжелав перенести этот костел в Париж), и туда войдут красивые монашки с желтыми свечами в своих невинных руках. Эяна видела, как в 1941 году из Вильнюса большевики вывозили монахинь. Везли их на обшарпанном грузовике: улочка была вымощена неровно, грузовик трясло, и вытянувшиеся в струнку монахини падали – они ведь не занимались спортом. У бортов расположились охранники и прикладами винтовок отгалкивали падавших на них монашек. Одной даже проббили лоб, и она не вытирала со лба кровь, наверное, у нее не нашлось носового платка.

Антанас Гаршва выходит на улицу через стеклянную дверь мастерской готового платья «Гимбелс». Он придерживает дверь, пока в нее проскальзывает веснушчатая девушка с накладной грудью, шестьдесят семь центов за пару. Но обращать на нее внимание он не станет. Эяна, он ее просто не заметит. Эяна, я подарю тебе кольцо с карнеолом и забытый трамвайный вагон с площади Queens<sup>5</sup>. Эяна, ты вылепишь для меня голову дворянина, она там, на карнизе дома, на улице Пилимо, в Вильнюсе. Эяна... ведь ты же не хочешь, чтобы я плакал.

Антанас Гаршва идет вдоль тридцать четвертой улицы. В свой отель. Вот закусочная: 7up, кока-кола, сэндвичи с окороком, с сыром; итальянские бутерброды с салатом. Вот магазин: прочные башмаки из Англии, клетчатые носки, чулки. Эяна, я подарю тебе чулки. Ты неаккуратная. Чулки у тебя на ногах вечно перекручены, шов перекошен, да сними ты их, сними. Я сам натяну чулки на твои ноги, когда их куплю. Туго натяну. Эяна, мне нравится повторять твое имя. В темпе французского вальса. Эяна, Эля-на, Эля-на-а. Немного грусти, немного вкуса, *esprit*<sup>6</sup>. Панглос был профессором метафизико-теолого-космологонигологии. Камни нужны для возведения твердынь, проповедовал он. Дороги – это средство сообщения, утверждал один из министров путей сообщения. Твое имя нужно для того, чтобы вспоминать о тебе. Все очень мудро. Хочу снова целовать тебя. Благоразумно. Только в губы, только в губы. Я начерчу магический знак у тебя на горле, нарисую мелом меч Тристана и Изольды. И ниже не стану тебя целовать. Тук-тук, тук-тук. Слава Богу, пальцы на руках и ногах больше не мерзнут. Эля-на – Эля-на-Эля-на-Эля-на-а. Вот и мой отель.

Антанас Гаршва входит в дверь *for employees*<sup>7</sup>, машет *watchman*<sup>8</sup> в стеклянной будочке, вытаскивает белую карточку из прорези на черной доске. На карточке – фамилия, *elevator*

---

<sup>2</sup> Район Нью-Йорка.

<sup>3</sup> Радуйся, что ты неврастеник (*англ.*).

<sup>4</sup> Доктор медицины (*Medicinae Doctor*), доктор философии. (*Philosophiae Doctor*).

<sup>5</sup> Площадь королев (*англ.*).

<sup>6</sup> Живой ум, остроумие (*франц.*).

<sup>7</sup> Служебный вход (*англ.*).

<sup>8</sup> Дежурный сторож (*англ.*).

operator<sup>9</sup>, дни, часы. «Цакт» – компостирует часовой механизм в металлической коробочке. Четыре часа и одна минута. Сердце – «тук», часы – «цакт». Watchman бродят ночами с часами на животе, запрятанными в кожаные футляры и постоянно фиксирующими время. По всем углам отеля вмонтированы стальные стержни. «Цакт» – и готово. Сработал компостер. Часы, подобно проститутке, переходят из дома в дом. Каждые два часа watchman может сделать перекур, в такие мгновения часы отдыхают на его дряблом животе. «Солнечные часы в моем сгнувшем замке спят на песке», – написал литовский поэт.

Антанас Гаршва спускается по ступенькам в подвал. На пути ему попадается негр, которому оторвало правую руку по локоть машиной для производства мороженого. Тот интересуется:

– Как поживаешь?

Гаршва отвечает:

– Хорошо, а ты?

Негр ничего не говорит в ответ и продолжает взбираться наверх. Однажды он внезапно почувствовал жар, рука упала на кусок льда и, наверное, растопила его. Этот негр – фанатик. Ему платят один доллар и четырнадцать центов в час.

Антанас Гаршва идет подвальными коридорами. Вдоль стен рядами стоят жестяные бочки. Трубы парового отопления выведены наружу и крепятся прямо на потолке. До них легко достать рукой. Но в этом нет нужды. Пальцы у него теплые. Кровь разогнал сам организм. Леонардо да Винчи напрасно интересовался анатомией. Лучше бы написал еще одну «Тайную вечерю», на холсте «Вечеря» бы не плесневела. А мне лучше не ходить в таверну и не беседовать с симпатичным мужем Эяны.

Кабы я сумела, кабы возомнила,  
Я бы тот передник  
на два поделила,  
А передник новый, зелены узоры.

Антанас Гаршва попадает в помещение раздевалки. И сразу в нос шибает привычным тяжелым духом. Тут же рядом – отхожее место. Между стульчаками легкие перегородки, когда по соседству с тобой кто-нибудь восседает, тебе отлично видны его башмаки и спущенные штаны. Здесь же умывальники и зеркала. Местная инструкция гласит: служащий отеля обязан быть чистоплотным и тщательно причесанным. Запрещается иметь на лбу прядь в поэтическом беспорядке. Еще запрещены желтые туфли и курение в помещении на виду у обитателей отеля. Я помню слова старичка капеллана, обращенные к нам, детям. «Вот вам пример ся. Ребенок ся, красивенький ся, чистенький ся, намытый ся». О, как мы ненавидели нашего первого ученика!

– Чего печальный такой сегодня, Топу? – спрашивает лифтер Джо. Это крупный, розовощекий парень. Он сидит на скамье и листает клавиш «Фауста». Учится петь баритоном.

– «Я должен уж покинуть этот мир...», – поет Антанас Гаршва. – Так звучит по-литовски ария Валентина.

– Музыкальный язык, – говорит Джо.

«Вот я и посол литовского народа», – думает про себя Гаршва.

Справа – дверной проем, в проеме виднеются зеленые шкафчики для одежды. Антанас Гаршва отпирает свой шкафчик и расстегивает пуговицу на вороте шотландской рубашки. Раздается он неторопливо. Какое-то мгновение он совершенно один. Не будь Вильнюса, Эяна бы не рассказала о нем. А если бы на стене не висела женщина (в руках у нее скрипка, точь-в-точь молитвенник, волосы распущены и синие-синие), я бы не заговорил о ней. И не услышал

---

<sup>9</sup> Лифтер (англ.).

бы легенду о клавишине, и меня бы не допрашивали судьи. «Ein alltäglicher Vorgang A. hat mit B., aus H ein wichtiges Geschäft abzuschliessen...»<sup>10</sup> и так далее. Треугольник: жена, любовник, муж. Облитовившийся актер взмахнул ручонкой и произнес из «Буриданова осла»: «Я любовник!» Что это со мной сегодня? Один образ наплывает на другой. Может, проглотить таблетку? Сегодня воскресенье, сегодня трудный денек.

Антанас Гаршва снимает с вешалки униформу лифтера: синие брюки с красным кантом и свекольного цвета сюртук с синими отворотами, с «золотыми» пуговицами, с плетеными галунами. На отворотах сюртука с обеих сторон посверкивают номера. 87-й слева, 87-й справа. Если гость недоволен лифтером, он может, вспомнив номер, пожаловаться на него диспетчеру. «87-й, сукин сын, поднял меня на четыре этажа выше, 87-й, 87-й, 87-й, из-за этого сукиного сына я пробыл в тесной коробке на две минуты дольше, проклятый балбес 87-й!» Приятно ругаться цифрами. Приятно оперировать числами. 24 035 – в Сибирь. Приятно. 47 погибли в авиакатастрофе. Приятно. Продано 7 038 456 иголок. Приятно. В эту ночь Mister X. будет счастлив трижды. Приятно. Сегодня Miss Y. умерла однажды. Приятно. В данный момент я один и посему проглочу одну таблетку. И мне тоже станет намного приятнее. Антанас Гаршва нащупывает в кармане брюк желтый и продолговатый целлулоидный пистон, глотает его. Затем усаживается на брошенный ящик и ждет. Тук-тук, тук-тук – это мое сердце. Стук его отдается в мозгах, в жилах, в мечтах.

Лен, леночек,  
Милый мой цветочек, ай туто,  
Милый мой цветочек, ратуто —  
Дождь моросит, туто!  
Голубой цветик, ай ратуто!

Доктор Игнас любит литовские народные песни. Он повторяет наизусть целые куплеты, просвечивая больного, вгоняя ему иголку шприца, выписывая рецепт, пожимая руку. «Милый мой цветочек, ай ратуто, надеюсь увидеть вас в четверг бодрым и здоровым». Эту любовь к народным песням доктору Игнасу привил Гаршва еще в немецкое время в Каунасе. Доктор Игнас и сам сочиняет стихи в ожидании пациентов. Он долго советуется с Гаршвой по поводу каждой строфы. Его круглое личико покрывается девичьим румянцем, когда он слышит комплимент. Стихи его не претендуют на что-то неординарное, это вирши для себя. Доктор Игнас их не печатает. Он читает их Гаршве и своему отцу, с трудом одолевающему газеты.

Антанас Гаршва посетил доктора Игнаса две недели назад. И снова тот просвечивал ему ребра рентгеном; снова ползла лента, и на ней высвечивались зигзаги, показывающие работу сердца; и снова накладывал резиновый жгут на обнаженную руку, а ртутный столбик поднимался до определенной отметки, – доктор мерял кровяное давление; и снова на него глядели внимательные глаза.

«Ой, ты, рожь моя, ты чего колышешься?» – произнес доктор Игнас, когда они оба уселись в кабинете возле письменного стола, напротив друг друга. Антанас Гаршва ждал приговора. Доктор Игнас молчал. Его ангельская головка свесилась на грудь, желтые волосы блестели на широком черепе, две печальные складки пролегли возле носа, в зеркальных стеклах роговых очков отражалось почти византийское лицо Гаршвы. В тишине они курили сигареты, Гаршва и доктор. Цветные карандаши, засунутые в карандашницу, имитирующую бейсбольный мячик, приобрели вдруг серый оттенок.

<sup>10</sup> Привычное дело, А. и Б. должны заключить важную сделку (нем.).

– Жду твоего нового стихотворения, – проговорил Антанас Гаршва. Доктор Игнас снял роговые очки и положил их поверх рецептурных бланков. Он моргал, как большинство близоруких людей.

– Да я не написал пока, – с грустью заметил он.

– Почему?

– Ты бы мог не работать какое-то время? – спросил доктор Игнас.

– Дела обстоят столь серьезно? – поинтересовался Гаршва.

– Ничего трагичного, однако...

– ... однако я возвращаюсь в усадьбу и встречаю матушку, в руках у нее зажженные свечи, – стал вспоминать вслух Гаршва. И это тихое воспоминание возвратило ему летний вечер, озеро, желтые кувшинки, удаляющееся мычание коров, загорелые ноги Йоне в белых туфельках и долетающую издалека песню. Вечер в литовской глуши, где главным богатеем был еврей Миллер, торговавший сардинами, которые ему доставляли из Каунаса.

– Можешь сказать точнее?

– Пока никакой трагедии. Придешь послезавтра, осмотрю тебя еще раз и тогда скажу точно. Если твои денежные дела плохи, я помогу.

Голова доктора Игнаса еще больше склонилась на грудь.

– Хотелось бы до среды поработать, в среду получу кругленькую сумму, – сказал Антанас Гаршва.

– Дерзай, но обязательно загляни послезавтра. – Гаршва встал и направился к двери. У порога они пожали друг другу руки.

– Во темнице пчелка, во темнице серенькая! – произнес Гаршва.

– Пчелка, пчелка, соты ткала! Жду тебя послезавтра, – откликнулся доктор Игнас.

Гаршва бросает взгляд на ручные часы. Пятнадцать минут до старта. Неужели действительно никакой трагедии? В этом году и впрямь никаких трагедий. В нью-йоркских театрах, не успевших развалиться, идут пьесы и комедии. В музеях демонстрируются котурны. В шкафчике для одежды висят шотландская рубашка и коричневые брюки. Модернизированный Иоганн Штраус – вот кого напоминает эта лифтерская униформа. Человек в опереточном одеянии может вдруг заболеть, и его номер 87-й. Я так и не сходил к доктору Игнасу в назначенный день. Просто назавтра вызвал по телефону мужа Эяны, и мы встретились с ним в таверне у Стевенса. А может, плюнуть на работу, стащить с себя униформу и навестить доктора Игнаса? Как-то неуютно здесь. Очертания распахнутой дверцы облупленного шкафа напоминают гигантское ухо. Кто запретил сюрреализм в литовской литературе? Может, Мажвидас? Бросьте вы этих Каукасов<sup>11</sup>, Жямьпатисов и Лауксаргасов, лучше берите меня и читайте. Никак не могу снять униформу. Я – литовский домовой из оперетты Иоганна Штрауса. Берите меня, губите и, когда станете губить меня, тогда все и поймете. В нынешнем году не случилось совершенно никаких трагедий. Есть только обшарпанные дверцы облупившегося шкафчика, ящик из-под кока-колы, несколько минут до старта. Тук-тук, тук-тук – в висках, в жилах, в мечтах. Берите же меня, елки-палки зеленые! Целлулоидный пистон растаял, горький порошок щекочет мозги. Ну, вот уже и спокойнее, вот и полегчало тебе, 87-й. На цифрах проступил какой-то химический налет. Эяна, я не подарю тебе кольцо с карнеолом, я не подарю тебе забытый вагон с площади Queens. Эяна, теперь мне все равно, меня обуяло полное равнодушие.

---

<sup>11</sup> Литовская фамилия, переводится как Домовой.

# 1

Днем в таверне у Стевенса спокойно. За углом гомонит бойкая Bedford Avenue, и случайные выпивохи редко сюда заглядывают. Клиентура Стевенса (Стяпонавичюса) – рабочий люд. Они любят нагреться вечером, в конце недели, и на откормленном, пронирыливым лице Стевенса тотчас расцветает услужливая улыбка. И руки начинают двигаться механически, механически он сыплет остротами, механически кивает головой, когда приходится сочувствовать какому-нибудь несчастному пьянице. Таков Стевенс.

В десять часов утра, когда в дверях возник Антанас Гаршва, Стевенс читал Daily News в пустой таверне. Стевенсу нравился этот стройный, слегка сутулящийся, светловолосый мужчина. Он частенько заходил сюда в дневное время, у него был приятный голос, и он не любил хвастаться или жаловаться. Стевенса вполне устраивали их отношения – отношения владельца таверны и ее завсегдатая. Болтая с Антанасом Гаршвой, Стевенс всякий раз убеждался, насколько правильно устроена его собственная жизнь.

Антанас Гаршва снова видел перед собой знакомые предметы и знакомого человека. Светлые прозрачные бокалы, накрытые розоватыми клетчатыми скатерками, пока еще чисто подметенный пол. Сияли зеркала, основательно надраенная стойка бара, красная клеенка на высоких стульях, телевизор в углу под потолком, музыкальный автомат, посверкивали напитки в бутылках. И только пыльные рожи старых боксеров висели по стенам, подобно неприкосновенным реликвиям.

Антанас Гаршва снова вдыхал легкий, стойкий даже при открытых окнах запах пива и мочи. Услышав шелест Daily News, он произнес:

– Привет, мистер Стевенс!

– Привет, мистер Гаршва!

На лице хозяина проступила улыбка – самый любезный вариант услужливости.

– Мать задушила подушкой трехлетнего ребенка, а сама выпрыгнула в окно четвертого этажа. Это случилось в Вгонх, – любезно проинформировал Стевенс.

– Далековато. Может, «Белой Лошади» плеснешь?

– Весть добрую, что ли, получил, раз пьешь шотландский виски? – поинтересовался Стевенс. – Скоро сюда подойдет еще один клиент. Надо поговорить. Важное дело.

Гаршва устроился за стойкой. В зеркале он видел свое лицо в обрамлении бутылок. Бледное и поблекшее, с темными подглазинами, и синие губы. Маску, отражавшуюся в зеркале, так и хотелось сорвать и смять.

– Хорошая у тебя корчма, Стевенс. Я бы купил такую.

– Ты копи, а я тебе потом эту корчму продам, – пообещал Стевенс, наливая шотландский виски из булькающей бутылки.

Торопливый глоток, и сразу учащенное дыхание, красные пятна на скулах.

«А парень-то не очень здоров», – подумал Стевенс.

– Если повезет, приглашу тебя поначалу партнером, сказал Гаршва. – Налей-ка.

– О.К. Yea...<sup>12</sup>

Солнечные квадраты пролегли вдоль половиц. Вспыхнул, засветился колпак на музыкальном автомате – стеклянный, волшебный шар: в нем отразилось внутреннее помещение таверны, вытянулась дальняя перспектива, отодвинулись куда-то назад двери, зыбким предчувствием обозначилась далекая улица. В шатком изгибе застыли мебель и люди. Антанас Гаршва сделал еще глоток.

---

<sup>12</sup> Хорошо (англ.).

Лицо в зеркале затуманилось, глаза заблестели. «Excited, excited<sup>13</sup>, он трет ладонями стойку», – осенило Стевенса. Белый песик потерялся о наружную дверь и убежал, задрвав хвост. На стойке бара лежали даймы и никели<sup>14</sup> – сдачу не принято тут же ссыпать в карман.

– Славная погодка, – заметил Гаршва.

– Уеа. Уже не жарко, – согласился Стевенс.

Муж Эяны распахнул дверь таверны. Широкоплечий, темноволосый, с голубыми глазами, в давно не глаженном сером костюме, в спортивной рубашке, с выступающим вперед подбородком, упрямый и печальный, точно заблудившийся кентавр. Он выжидательно замер у двери. Гаршва сполз с высокого стула. Муж Эяны ждал, чуть подавшись вперед, и его коротко остриженные волосы воинственно торчали дыбом. Гаршва сделал несколько шагов. Оба стояли друг против друга до тех пор, пока в их глазах не промелькнуло решение: руки друг другу не подавать. «Если возникнет потасовка, Гаршва свое схлопочет», – решил Стевенс.

– Давайте присядем, – предложил Гаршва. Они выбрали столик рядом с музыкальным автоматом. – Что будете пить?

– А вы что пьете?

– «Белую лошадь». Заказать?

– Ага.

– Две, – Гаршва вскинул два пальца.

– И два стакана сельтерской.

Вернулся тот самый песик, опять потерялся о дверь таверны и исчез. Стевенс принес рюмки и стаканы и, зайдя за стойку, углубился в газету. Шелест газеты и учащенное дыхание Гаршвы какое-то время были единственными звуками, раздававшимися в таверне. Муж Эяны вылил виски в стакан с сельтерской.

– А я не смешиваю, – заметил Гаршва.

– Знаю, – откликнулся муж Эяны.

У Гаршвы дрогнули веки.

– Мне Эяна говорила.

– Она рассказывала обо мне?

– Она призналась.

Муж Эяны с завидным спокойствием потягивал разбавленный виски.

– Я даже принял решение убить вас.

– Приняли решение?

– Да. Но потом передумал. Любовь сильнее смерти, не так ли, вы должны лучше знать, вы – поэт.

– Дурацкое дело. А я вызвал вас сюда... потому что совершенно противоположного мнения на сей счет.

Муж Эяны резко поставил стакан на стол. Несколько капель выплеснулось на розовую скатерть.

– Смерть сильнее любви, – проговорил Гаршва.

– Я всего лишь инженер, – муж Эяны. – И не умею мыслить так туманно. Поясните.

«Если завяжется потасовка, я подсоблю Гаршве», – решил Стевенс.

– Вчера я навестил своего доктора.

– Знаю. Вчера вы потеряли сознание.

– Она вам все рассказала?

Гаршва в третий раз приложился к рюмке. Сделал глоток, провел по губам ладонью. Он внимал инженеру, как будто тот был ксендзом, отпускающим грехи. «Не нравится мне, что

---

<sup>13</sup> Взволован (*англ.*).

<sup>14</sup> Монеты в 10 и 5 центов (*dime, nickel*).

Гаршва так боится», – разозлился Стевенс и перевернул лист Daily News. В таверну ввалился небритый оборванец, утративший человеческий облик, и потребовал бокал пива. Воцарилась тишина. С Bedford Avenue донесся гул проносящихся мимо автомобилей.

– Я захотел Эляну. Она не согласилась. Мы проговорили всю ночь напролет. Вы можете быть спокойны, она верна вам. Она любит вас. – Гаршва говорил, поигрывая пустой рюмкой. Он вертел ее между пальцами, словно волчок, который никак не удается раскрутить. – Мне очень жаль, что так вышло, – проговорил он тихо.

– А вы любите Эляну? – спросил инженер, опять принявшись за виски.

– Очень, – еще тише признался Гаршва.

– Вы так серьезно больны?

– Схожу еще раз к доктору. Все выяснится.

Теперь уже инженер поднял два пальца, и Стевенс принес рюмки и стаканы. «А у моего парня, видать, неплохо подвешен язык. Этот господинчик на глазах становится сговорчивее», – подумал Стевенс и, вернувшись за стойку, налил подремывающему оборванцу бесплатный бокал пива.

– И что собираетесь делать?

Гаршва нерешительно поглядел на свою полную рюмку. Забавляться теперь было уже сложнее.

– Я отнюдь не романтик. Поэтому прыгать вниз с тридцать пятого этажа не стану. Я эстет и, даже будучи мертвым, не хочу, чтобы меня кто-то видел безобразно раздавленным.

– Не шутите. Что будете делать? – спросил инженер, сосредоточенно размешивая виски с сельтерской.

Гаршва разглаживал пальцами скатерть. Он внимательно посмотрел в спину любителя пива и ощутил, как пальцы рук и ног сковывает холод, ему захотелось услышать голос Эляны, он знал: если выпьет четвертую рюмку, скажет что-нибудь теплое и беспомощное.

– Ждать.

«Черт, чего он дергается!» – разволновался Стевенс и налил себе пива.

– Плохо мы оба начали, плохо, – проговорил вдруг инженер, наблюдая за Гаршвой немигающим взглядом. – Потолкуем вот так битых два часа и разойдемся ни с чем. Говорите свое слово, а я скажу свое – и подведем итог.

– Выступление я не готовил. Наверное, зря вас вызвал. Мы с Эляной приняли такое решение. Просить у вас развод. Но вам известно, что случилось. Однажды я уже отказывался от женщины по этим же причинам. Приходится отказываться и от Эляны. Последняя моя утрата. Видно, наша с вами встреча напрасна. Простите. Это было продиктовано обветшалой порядочностью. Что поделаешь, атавизм... И... мне думается, на этом можно расстаться, если не возражаете.

И Гаршва поднял рюмку.

– Поставь назад! Не смей пить, – строго велел инженер, и Гаршва послушался. – Тебе лечиться надо. Ляжешь в больницу?

– Не знаю. Как доктор решит. Пока он сказал только одно: мне следует бросить работу.

– Мы с Эляной навестим тебя. В больнице или дома. Черкни открытку.

Инженер выпил рюмку виски, предназначавшуюся Гаршве, затем свою, после чего поднялся. Покачиваясь, он приблизился к стойке и, бросив взгляд на задремавшего оборванца, произнес:

– С самого утра дрыхнет?

– Да это обычный бродяга, – пояснил Стевенс.

– Плачу за все.

Инженер вернулся к столику и протянул Гаршве руку.

– Поправляйся. Счастливо. До скорой встречи.

– Прощай.

Оба долго трясли друг другу руки. Кентавр просветлел лицом, узнав дорогу в рай, он благодарил симпатичного и стройного фавна. Солнечные блики упали на стойку бара, и выстроившиеся в зеркальных витринах бутылки засветились, словно древние минареты.

Инженер выпустил руку Гаршвы и удалился. Гаршва остался стоять у стойки. «Ну и story<sup>15</sup>, не стали драться!» – подивился Стевенс и спросил:

– Бизнес О.К.?

– О.К. Я пойду.

– Вуе<sup>16</sup>. Приходи в субботу. Будут кальмары. Угощаю.

– Спасибо. Вуе.

Гаршва вышел на улицу и, остановившись, какое-то время озирался. Куда исчез песик, который терся о дверь и вилял хвостом?

Пять минут до старта. Антанас Гаршва оставляет в покое ящик. Смотрится в зеркало. Баритон уже куда-то пропал. Лицо не самое живописное. Следы, правда, остались. Прозелень вокруг носа. Зато глаза живые, и чувствую я себя не так уж скверно. Кардинал Эль Греко мне не конкурент. Красный цвет на его одежде глуше, чем у меня на униформе. Я развеселился, и меня больше не волнует атмосфера древних эллинов. Запах? Эяна или какие-то другие женщины – какая разница в конце концов? И это колыхание.

Антанас Гаршва направляется к баск лифту<sup>17</sup>. И это покачивание. Запах становится острее, и лицо уже не имеет никакого значения. Запах, отвратительный для парикмахеров: пудра, разные втирания для роста волос, потные лбы. Ты вовсе не моя любимая. Ты – всего лишь послушное и смердящее колыхание. Я презираю твое звериное влечение. Ты – стульчак из уборной в уменьшенном виде. Ты забыта. Хотя и стучалась, колотила в дверь кулаками. Теперь я приравнял тебя ко всем другим женщинам, ведь я – холостяк, который чокнутых барынь выбирает куда охотнее, чем уличных. Я осторожен, Изольда? Я всего лишь поэт. И ты материал для моих новых стихов.

О Вильнюсе. Буду писать изысканные легенды. О Вильнюсе. Никогда не стану повторять твое имя. В темпе французского вальса. В ритме Золя. На-на-на, На-на-на, На-на-на. Эяна, уже две недели я не имел тебя.

Антанас Гаршва поднимается вверх. В лифте для персонала давка. Негритянки в белых халатах; пуэрториканки с татуировкой на руках; room service man<sup>18</sup>, на обшлагах его зеленой униформы – пять золотых звездочек. Безымянные звезды мерцают на зеленом рукаве. В коленках у room service man булькает вода. Когда Гаршва выйдет, на его место прыгнет все тот же проворный немец с двумя звездочками. Антанас Гаршва уже наверху. В узком коридоре он компостирует еще одну карточку: точное время, две минуты до старта. Он открывает дверь.

Восьмимиллионное нью-йоркское величие уместается в main floor lobby<sup>19</sup>. Архитектор слепил образцовый макет для туристов. Железобетонный, урбанистический апофеоз проступает в этом математически рассчитанном зале; мощные квадратные колонны, темно-красный цвет придают отелю солидность, ковер той же расцветки не боится горящих окурков, обитые красной клеенкой кресла расставлены, совсем как в приемной врача, где за дверьми кабинетов сотни врачей ведут прием, осматривают, оперируют, умерщвляют. Светят матовые лампы, и трубки «дневного света» придают лицам посетителей землистый оттенок, точь-в-точь как там, у подножия горы, с которой вознесся Иисус, чтобы воскреснуть. Посреди зала стоит ядовито

---

<sup>15</sup> История (англ.).

<sup>16</sup> Пока (англ.).

<sup>17</sup> Служебный лифт для персонала (англ.).

<sup>18</sup> Уборщик, прислуживающий в номерах гостиницы (англ.).

<sup>19</sup> Главный вестибюль (англ.).

зеленый plymouth, его можно выиграть, бросив четвертной купон<sup>20</sup> в урну, рядом с которой восседает веселая девушка, подстриженная и уложенная в стиле лучших образцов стрижки дорогих породистых собак; от многочасовой улыбки у нее болят мышцы щек, и в глазке ее десятидолларового колечка отражается фиолетовый гипс потолка. Голубые капитаны – прилизанные, с выщипанными бровями, обладающие непревзойденным чутьем на клиента, расхаживают рабски горделивые, особенно в тот момент, когда мимо пробегает чернокожий менеджер, плешивый и зоркий, с неременной белой гвоздикой в петлице атласного лацкана. В Safe rouge<sup>21</sup> сегодня вечером играет известный band, как обозначено в афишах розового цвета с рамочкой: ноты-ходули, разбросаны вокруг французского названия, при этом буквы старательно начертаны с помощью трафарета.

В правой стороне вестибюля – перегородки из полированного дерева, за ними сидят служащие («белые воротнички») – sport cut, brush cut, regular cut<sup>22</sup> – молодые люди и девушки в темных платьях, бесконечно услужливые по отношению к клиенту и вечно злые на своего коллегу, не позволившего им воспользоваться пишущей машинкой. 1 843 крючка для ключей вмонтированы в стену позади веснушчатого клерка, прямо у него за спиной. Ровно столько комнат в отеле. Чуть поодаль, в рощице из фикусов и лавров, стоит нечто, напоминающее похищенный из церкви амвон, и элегантнейший капитан с седыми висками, тонким носом, красными от жевательной резинки губами приглушенным басом вызывает в микрофон всех, кого требуют клиенты. «Мисс Алисон ожидает мистера Грамптона, будьте любезны, мистер Грамптон, будьте любезны, мисс Алисон ждет вас!»

По левую сторону вестибюля – магазины. Витрина первого магазина завалена сувенирами. Рядом стоят китайские мандарины и японские гейши – загримированные, переодетые европейцы, фальшивые восточные персонажи из бессмертной оперы «Мадам Баттерфляй»; «немецкие» глиняные кувшины для пива, явная пародия на настоящие, которые ваяли подражатели Галле и Дюрера; голландские шапочки – эдакие всхлипы американизированного голландца; лакированные негритянские маски, при виде которых разразился бы гомерическим хохотом любой негр из Конго и Судана; скатерки, якобы расшитые индейцами, а на самом деле прилежно вытканые на модернизированных станках; великое множество всяких фарфоровых безделушек. Дальше – витрина товаров для мужчин. На каждой рубашке, на каждом галстуке, трусах или суспензории – эмблема отеля: лев с разинутой пастью, сильно смахивающий на английского льва, и название отеля. Такой же лев маячит по соседству – на женских вещах. Гордость отеля – витрина с часами в центре lobby. Разглядывая ее, невольно поддаешься панике: скромные часы-браслет стоят тысячу долларов, невероятно маленькое кольцо из жемчуга, перламутровые серьги, довольно неприметные кольца усеяны сверкающими бриллиантами.

В main floor lobby находится drugstore<sup>23</sup>, там торгуют вкусными тарталетками с рыбным паштетом. Здесь же располагается и coffee-shop<sup>24</sup> для малоимущих: пожилая продавщица завтра получит расчет, она жевала резинку в рабочее время, и это заметил помощник менеджера. В main floor lobby находится газетный и табачный киоски. Лысый, невзрачный их владелец по воскресеньям играет на флейте, он принадлежит к секте, насчитывающей всего лишь 800 членов. Если спуститься по ступеням вниз, в main floor lobby, обнаружишь вместительный ресторан; на гранитном постаменте расставлены наподобие свеч в гигантском торте образцы бутылок с импортными винами. В main floor lobby можно постричься, почистить башмаки, провести

<sup>20</sup> Монета в 25 центов.

<sup>21</sup> Красное кафе (*франц.*).

<sup>22</sup> Короткая стрижка, стрижка «ёжиком», обычная стрижка (*англ.*).

<sup>23</sup> Аптека, там обычно продаются напитки, закуски, всевозможный мелкий товар.

<sup>24</sup> Кафе, буфет (*англ.*).

часок у «Ladies» или «Gentlemen», мило беседуя с симпатичным негром или негротянкой, их кожа еще сильнее оттеняет белизну полотенец. Здесь можно купить сигареты у девушки с подносом, платье на ней с глубоким вырезом, и, если тебе невтерпеж, она пригласит подружку, торгующую собой с такой непосредственностью, словно это весенняя распродажа. Здесь можно совершить любую денежную операцию и даже сойти с ума – к тебе тут же примчится опытный врач с десятого этажа.

Привычный ритм lobby нарушают разве что красные bellmen<sup>25</sup>, они кидаются к прибывающим и отъезжающим гостям, перетаскивают чемоданы, заговаривают с ними, если те вдруг выражают желание поболтать, и безропотно помалкивают, когда попадают на неразговорчивые клиенты. Многие из них разбираются в психологии не хуже иного психоаналитика. Попастись в bellmen очень трудно. Почти так же, как во Французскую академию. Разве кто-то умрет или уйдет. Натренированные посыльные собирают одних чаевых до ста долларов в неделю.

Минута до старта. Антанас Гаршва проходит мимо зеркал, наблюдая за своим отражением. Вот Гаршва, вот Гаршва, а вот 87-й. Я обзавелся новым гербом. Мое генеалогическое древо разветвилось. На гербе моей матери – рыба стоит на хвосте, не то карп, не то карась. Лев с разинутой пастью сожрал протухшую рыбину. Да здравствует прожорливость чужестранцев! Да здравствует парализованная Англия, которая трансформировалась в гибрид рыбы и льва! Да здравствует спайка грейпфрута и элементов водородной бомбы перед взрывом! Да здравствуют часы моего отдыха! Наиболее американизированный идеал. И туман. Даже нельзя приблизиться. Вам – гостям отеля, менеджеру и старттеру. Да, даже старттеру. Вот и последнее зеркало. Поглядишь на себя в последний раз, Антанас Гаршва. Ты внезапно сделался похожим на отца, а может, это ошибка. Те, кого приглашали в наш дом на чай с земляничным вареньем, обычно говорили: «О-о-очень похож на мать! Повернись, Антанукас. И в самом деле, ну просто копия!» Дай тебе в руки скрипку, и тебе очень бы пошло исполнять цыганские вариации Wieniaw-sky. Мой приятель баритон Джо уже ждет. И мой друг пьяница Stanley тоже ждет.

Антанас Гаршва оказывается в просторном углублении вестибюля, где по обеим сторонам расположены лифты. Шесть справа, шесть слева. Слева – так называемые «локалы». Они поднимаются только до десятого этажа, останавливаясь на каждом, и затем возвращаются на первый. Справа – экспрессы. Они останавливаются сразу на десятом и потом уже выше на каждом этаже, восемнадцатый этаж – последний. Лифты в отеле системы Westinghouse автоматические.

Возле цветочной витрины старттер поджидает новую смену лифтеров. Высокий ирландец в голубой униформе, страдающий язвой желудка, сообразительный и проворный, с неожиданными для него самого вспышками гнева. Он собирает карточки и распределяет лифты.

«Девятый, Топу», – говорит он, подавая белые перчатки. Вверху над лифтом – цифры и указательные стрелки.

Антанас Гаршва ждет, когда спустится приятель. «12-й» – указывает стрелка, стоп, вниз, на одиннадцатом не остановился. Сейчас «девятка» с жужжанием прикатит в lobby. Ну, вот и натянул хирургические перчатки. Бабушкиного кольца времен восстания уже не видно. Уважаемая госпожа, ты странная, ненужная мне Эяна. Я мечтатель, как и мой отец. Я литовский домовый в самом большом отеле Нью-Йорка. Одних лифтеров только сорок. Девятый спускается. Дверь распаивается. Семеро пассажиров уплывают прочь. Маленький итальянец говорит: «Сегодня один пьяный чудака сунул мне доллар. Дескать, красненькую<sup>26</sup> ты заработал. Good bye, Топу».

– Good bye.

<sup>25</sup> Посыльные (англ.).

<sup>26</sup> Red – в разговорном языке в Америке означает мелкую монету, одним словом, чаевые.

Гаршва входит внутрь, вокруг сплошная полировка. «Загон для скота» – так прозвали кабину сами лифтеры.

## 2

## ИЗ ЗАПИСОК ГАРШВЫ

Мой отец очень любил играть на скрипке. Играл он, несомненно, талантливо, но ему не хватало школьной подготовки. Он с остервенением исполнял вариации Wieniaw-sky, но не думаю, чтобы он одолел Байера. Отец вычеркивал целые вереницы нот и заменял их блестящей импровизацией. Как и все любители, многие места он затягивал, придавал им больше чувствительности, убыстрял. Внешность его и впрямь соответствовала облику скрипача: стройное, подвижное тело, нервные, изящные руки, резкий профиль с длинным и вислым носом. Господи, как он летал по комнате! Любая его поза заслуживала художественной фотографии. Позже в фильмах Walt Disney я видел своего отца, повторенного в рисованных персонажах. Когда я приобщился к первым серьезным книгам, образ «гения» воплотил именно мой отец, терзающий себя скрипичными упражнениями. Слушая его дьявольскую игру, я ощущал слезы радости от этой красоты, желание умереть во имя экстаза.

Обычно происходило это по вечерам. У нас была замечательная керосиновая лампа с абажуром из зеленого стекла. Вечерами лампа светила, и все стены, мебель делались какими-то мягкими, нарядными и уютными.

Отец как бы нехотя касался поверхности скрипки (скрипка висела над головой, на стене), избегая смотреть на вышивающую мать, на меня, играющего с собственными руками. Он ждал, когда его начнут упрашивать. Тикали часы, наша семья любила часы: светящиеся стенные, будильник с колокольчиком, отцовские серебряные, что лежали на столе. Отцовские напоминали медальон на шее матери, только были крупнее. Мы слушали вступительный аккорд под аккомпанемент часов. Я стискивал пальцы. Мать все медленнее делала стежки, последний лепесток чайной розы так и не распустился на скатерти. «Аккомпанемент» слишком долго тикал, как будто слушатели еще не уgomонились в своих креслах, и кто-то продолжал кашлять. Отец уже нервно тербил свою скрипку. Как ясно слышно было тиканье часов! Падение плоских камней в воду, шуршание еловых иголок, постукивание иглы о неполированный металл, ритмичные шажки материнской теплоты. И мать произносила несколько слов, мои же пальцы продолжали свою гимнастику, а пальцы отца поглаживали лак скрипки.

– Как ты считаешь?

– Ты о чем? – спрашивал отец.

– Я думаю сейчас о Wieniawsky. Действительно ли его музыке не достает...

– Ты хочешь сказать, не достает глубины? Да, это правда. Зато ее отличает красота тональности, она виртуозна, а я люблю виртуозность в скрипичной музыке. Например...

Отец держал скрипку в руках. Мне никогда не удавалось заметить, как он ее снимал. Казалось, она сама отделялась от стены и прыгала отцу в руки.

– Например, вот это место из концерта номер два. До-минор. Заключительный фрагмент. Цыганские вариации. Это россыпь бриллиантов.

И отец принимался разбрасывать бриллианты. Сначала падали мелкие, не шлифованные драгоценные камешки, и называлось это пиччикато. Отец разбрасывал их сидя. А затем наступал черед крупных и сверкающих камней. Теперь отец уже стоял, а мне казалось, что это не он сам выпрямился, но именно пружины, сокрытые в стуле, выбросили его на середину комнаты. Бриллианты летали, носились по комнате в зеленом свете, а я наклонялся и втягивал голову в плечи, чтобы бриллиантовые вариации не задели меня. Но все равно отдельные камешки своими острыми гранями царапали мне позвоночник, и я чувствовал холод. Мой отец был несметно богат, он обладал большим количеством бриллиантов, нежели непальский магараджи. И он летал вместе с ними в зеленой комнате. Извивался и бесновался. И я не понимал, почему Wieniawski не хватает глубины. Цыганские вариации? По моему разумению, цыгане –

глубокий народ. Они сидели по ночам у костра или плясали, они всаживали нож в тело врага и с замечательной ловкостью крали чужих лошадей. Они были храбрыми, грязными, их женщины как-то по-иному покачивали бедрами и гадали на картах, их хотелось обнять, чтобы мониста зазвенели у них на шее. Теперь мой отец был цыганом, зеленая лампа – костром, мать – цыганской королевой, а я...

Черные волосы и смоляные кудри. Красный пояс и гибкая талия. Взгляды встречаются, искры, как фейерверк. Лермонтовская Тамара для меня такая цыганистая, неужели Демон мог подпоясаться красным кушаком, он – такой черный, совсем как неусыпный страх, когда ночью лежишь в кровати. Танец Демону не к лицу, зато он мог стоять у костра и слушать звон монист на шее у цыганки Тамары.

Отец завершал вариации долгой и слабеющей нотой. Возможно, он устал. Он и его скрипка. Я ясно видел усталую лакировку, выдолбленные ямки – скрипка была старая, и ее следовало осторожно повесить на стену. Но стул уже не придвигался сам, отец обмякал на нем, а музыкальный энтузиазм впитывала в себя комната. Теперь матери можно было и дальше вышивать лепесток розы, я опять принимался за гимнастику рук, а отец – за свои мысли. Консерватория... Был он небогатым, ему удалось отвоевать для себя только профессию учителя, а консерватория... Незаконченные вариации Wieniawsky, морщины на скрипке, морщины на отцовском лице. Отец и скрипка – два друга, которые радостно кидаются друг другу в объятия, а спустя миг расстаются, два друга, старающиеся не унывать. Зеленый свет навеивает желание быть необыкновенным, незаурядным, но этой незаурядности хватает всего на несколько минут, а потом остаются только уютная мещанская лампа и долгий учительский вечер. Тетради, ошибки, задачи: «От станции А до станции Б столько-то и столько-то километров, а сколько километров до станции С?» Как далеко находится эта станция С, на которой стоит величественная консерватория с мраморными колоннами?

Еще мой отец писал драмы. Жуткие, кровавые и эффектные. Положительные и отрицательные персонажи он разделял по чисто национальному признаку. Литовец – благодетель, поляк – предатель, русский – садист. Тематика его драм? Распространение запрещенных литовских книг, изнасилование невинной девушки, ее трагическая гибель в водах Немана, добыча золота в сибирской тайге, и все это сопровождалось обилием народных песен – аккомпанементом, напоминавшим древние горшки странной формы, куда выплескивались звонкие чувства героев. В маленьком городке, где власти напрочь забыли о железнодорожном вокзале, когда-то оживленном и шумном, мой отец самолично ставил эти драмы в здании ремесленного училища среди пахнущих смолой верстаков, стволов и лыж, вытаскивая учеников-подростков на шаткую сцену. Эта сцена вращалась на деревянных козлах в бывшем зале ожидания для пассажиров второго класса бесхозного ныне вокзала. Меня и многих зрителей потрясали сценические эффекты в натуралистической режиссуре отца. Актеры жали самую настоящую рожь (ученики старательно втыкали колоски в деревянные колоды); специальная машина разбрасывала пух, имитирующий снег, и пушинки прилипали к шерстяной одежде зрителей первого ряда (а в первом ряду сидели самые уважаемые представители городка: настоятель, нотариус, начальник полиции, акушерка, говорившая басом). Главная героиня, изнасилованная польским барчуком и забеременевшая, топилась в проломе между деревянными половицами (т. е. в Немане), и прятая там же мальчишка выплескивал из бутылки сельтерскую, на подмости падали капли, от тела утопленницы летели брызги. Мой отец на фоне занавеса с видом победителя посылал публике символические поцелуи в благодарность за эстетические зрительские слезы. Он слышал жалостливый бас акушерки: «Ох, отсталая эпоха!» В ее интонации звучала нотка человечности.

Мой отец был оратор. Возле вокзала росли липы и стоял алтарь. В праздники здесь толпились люди. Развевались флаги, сияли трубы оркестра пожарников, рыгал изрядно набравшийся барабанщик, почетные представители городка облачались в синие и серые костюмы, при

этом мышцы лица у них были очень напряженные, что давалось не без усердия, искусственные конвульсии подчеркивали серьезность и торжественность момента. Вокруг собралась благодарная публика: женщины, которым так хотелось поплакать, и дети, стосковавшиеся по несчастным городским зрелищам. Над алтарем вился дымок. Чтобы огонь лучше разгорелся, сторож вокзала для растопки набивал алтарь старыми газетами, и обуглившиеся клочья бумаги летали над головами людей. Дамы все как одна нацепили каунасские шляпки, в толпе пестрели разноцветные перья, и женщины были похожи на домашнюю птицу, сбившуюся в кучу в ожидании корма. Мой отец как раз и забил себе голову всем тем, что требовалось страждущей публике: закрома его были полны таким кормом, который легко переваривается, вызывает слезы, при виде которого отвисает нижняя челюсть, возникает желание аплодировать предыдущему оратору и образцовому семьянину, вопить в едином порыве «валё-о-о», чтобы раскатистый звук «о» врвался сквозь распахнутые окна в вокзальный буфет и заставлял звенеть выстроенные рядами водочные рюмки. Стройная фигура отца в довоенном сюртуке возвышалась вкопанным в землю обелиском. Темой его речей, как, впрочем, и драм, были недостатки русских и поляков. Рисунок его выступлений – это цыганские вариации Wieniawsky. Он и тут использовал свое пищикато. Вроде как бы и не готовил свою речь, а лишь сейчас подбирал нужные слова, но этот притворный поиск западал в душу слушателям, заставляя их откликаться на это пищикато, и они прочувствованно внимали оратору, сумевшему сосредоточить в себе столь ценное и значимое внутреннее содержание. Сверкали старательно начищенные трубы пожарных, поблескивал никель велосипедов, золотился только что посыпанный песок между железнодорожными рельсами, лоснились свежесбрившие щеки мужчин, увлажнялись глаза стареющих дам, матово отливали шелковые лацканы отцовского сюртука. Голос отца взмывал ввысь.

Троцкий и вся его братия обедали в Таганроге, в гостинице на втором этаже, и бросали тарелки на улицу. Стоявшая на улице толпа ловила эти тарелки, словно манну небесную, и тут же их вылизывала. Дрожали посиневшие языки.

Вильнюсские поляки заманивали литовских патриотов в специально оборудованные камеры, где во время допроса вливали им через нос воду, от чего животы патриотов вздувались подобно барабанам.

Мой отец воздевал руки. Грозил кулаком. Разрезал воздух обшлагами сюртука. Пригоршнями метал молнии, высекая их взглядом. У него уставали голосовые связки. И тогда воцарялась тишина. Побледневший отец снова застывал свежоштукатуренным обелиском, на котором маляр по забывчивости не провел кистью в двух местах. Толпа гудела. Понечки плакали, а у мужчин становились узкими губы; ребятишки открывали рты, окончательно забыв про свои сопливые носы, которые явно не мешало бы вытереть. Тучи синими клубами плыли в сторону Жежмаряй. Пожарные из оркестра уже смачивали слюной сухие языки, и черноусый дирижер постреливал глазами в ноты. Бедный барабанщик рыгал угасающими аккордами, весь иссякший и оглушенный. Он с ужасом смотрел на свой барабан, точно это был его собственный живот. У отца медленно подкашивались колени. Обелиск оседал, словно был сделан из снега и угля, и теперь начинал таять от прилива чувств, совсем как на припекающем весеннем солнце. Отец стоял на коленях на привокзальной площади рядом с курящимся алтарем, дым которого сказочно, мистически проплывал мимо его лица, руки при этом были распростерты.

– Мы – от моря и до моря, – провозглашал он.

«И до моря» – эти слова все теснее заполняли пространство, раздувались и неторопливо взлетали ввысь. Отец резко поднимался с колен и быстрым шагом шел через расступавшуюся толпу. В спину ему ударяли неистовые крики «валё-о-о», ребятишки подбрасывали шапки, трубы сотрясали пивные бокалы в вокзальном буфете, клубились тучи. Отец ступал, как Икар, готовый вот-вот подняться в небо и полететь сквозь вереницы туч в сторону Жежмаряй. В эти минуты я верил в своего отца, я бы не удивился, если бы он действительно полетел, не касаясь своими длинными ногами вокзальных труб из красного кирпича.

Пока отец жил с матерью, он был восхитительным лжецом. Позже отец перенес свое красноречие на учительницу немецкого языка, и мне больше не доводилось слышать галантных историй.

Учился он в Тифлисе, в педагогическом институте. У него не было денег, и он пробавлялся виноградом и сыром. Но выглядел элегантно и на последние деньги заказывал хорошо сшитую одежду. В городском саду во время вечерней прогулки грузинская княжна Чавчавадзе велела кучеру остановить открытое ландо, запряженное четверкой белогривых лошадей. Отец стоял, прислонившись к дереву цветущей акации, и курил длинную, дорогую папиросу. Любовь родилась с первого взгляда. Отец без слов сел в ландо. Приглашение он прочел в черных, как ночь, глазах княжны Чавчавадзе. У княжны Чавчавадзе были красные, как роза, губы, у княжны Чавчавадзе были белые, как вершина Казбека, руки. История благочестивого Иосифа и Потифары повторилась. Отец был горд и несговорчив, никак не пойму почему. Он не поехал к княжне в саклю, не захотел отведать шашлыка, не согласился выпить красного вина, хранящегося в бурдюках из овечьей шкуры, которые закопаны глубоко в землю, он отказался даже поцеловать ее мизинец. Выпрыгнул из ландо и двинулся прочь по узкой тропе, петлявшей среди остроконечных скал. Внизу находилось глубокое ущелье, и княжна Чавчавадзе приказала кучеру вместе с ландо возвращаться домой. И когда ландо скрылось за поворотом, она бросилась в шумящий, пенящийся внизу поток. Ее труп так и не нашли. Стремительные воды Терека унесли ее в Черное или Каспийское море, теперь уже не помню, в какое точно. Любовь умерла, едва зародившись, а мой отец во время ежевечерней прогулки опять часами простаивал под акацией, прислонившись к стволу дерева. Прогуливавшиеся горожане указывали на него глазами, красивые женщины испуганно отворачивались, и хотя кое-кто посылал ему благосклонные взгляды, он оставался непреклонен, как скала, к которой приковали когда-то Прометей.

Мать, выслушав предназначенные для нее легенды, иногда позволяла себе ироническое замечание, что на Кавказе в царское время было много бедных князей и княжон, некоторые из которых служили лакеями и подавальщиками в самых дешевых питейных заведениях Тифлиса, где заказывают лишь виноград да сыр. Но отец не слышал этих обращенных к нему слов.

Мой отец любил природу. Вспоминаются наши совместные прогулки по берегу Немана. В Аукштои и Панямуне. Это были походы с преодолением препятствий. Цветы, кусты можжевельника, течение воды, облака, терпкий запах сосняка заставляли его останавливаться.

Эти статичные позы отца, по моему разумению, были исполнены величайшей эстетики.

Отец наклонялся над обычной ромашкой и пересчитывал ее лепестки. Как ботаник, как влюбленный, как сиротка из детских сказок.

Вот отец стоит на обрыве и наблюдает за тем, как Неман огибает Пажайслайский монастырь. Его силуэт придает пейзажу осмысленность, и в моем воображении оживает прошлое. Наполеон у Березины; Витаутас Великий, следящий за ходом битвы при Жальгирисе; Чингисхан в русских степях; Нерон, читающий стихи в горящем Риме; богомolec, поджидающий лодку, чтобы переправиться на другую сторону, в Пажайслис, на престольный праздник; самоубийца, отвергающий последний аргумент в пользу земной жизни.

Отец лежит в траве, и его взгляд блуждает в верхушках сосен, в облаках. Лежит долго, покусывая травинку, грудь его ритмично вздымается, ветер шевелит усы, и я бы не удивился тому, что произнесенные им слова оказались бы на редкость важными, отчего во мне сразу бы исчезли страх и сомнение.

Я уважал и любил отца, когда он созерцал природу. Любил ли он ее, могу только догадываться. Он избегал об этом говорить, лишь ронял обрывки слов.

– Смотри, солнце... странно, всего шесть листьев... здесь, в болоте, я видел очень много змей, когда был маленьким... взгляни туда, крест блестит... давай еще посидим.

И тогда через моего отца в меня проникала печаль природы, я ощущал свою чужеродность, мой одинокий силуэт в окружении листьев, деревьев, воды, воздуха; меня кололи миллионы иголок, и мои глаза, рот, уши, кожа впитывали одиночество.

«Красиво» и «страшно» – это первые абстрактные слова, зародившиеся в моей голове во время наблюдений за притихшим на природе отцом.

Иногда отец поколачивал мать.

Девятый – хороший лифт. Он редко застревает между этажами, и его двери быстро открываются. Антанас Гаршва стоит справа, перед ним – металлическая доска с кнопками и световыми сигналами. Вспыхивает красный квадрат – «приготовиться», зеленая стрелка – «потянуть на себя рукоятку». Гости входят. Их распределяет стартер. По воскресеньям отель переполнен. На восемнадцатом этаже – помещения для балов и приемов, в мезонине – для конференций и вечеринок. В отеле проходят юбилейные свадьбы, собрания масонских лож, национальные празднества разных иностранцев, съезды зубных врачей, молодежные танцевальные вечера. The Ladies of Hercules party<sup>27</sup>, вечеринки русских попов с красным вином и монархическими песнями, party бывших алкоголиков, совещания чанкайшистских офицеров, собрания прогрессивных армян, party престарелых боксеров, обеды кардинала и его свиты с польским духовенством, выставки живых шиншилл... В отеле отмечают юбилеи, веселятся, собираются, празднуют, выставляются, обедают, вспоминают, устраивают заговоры, советуются, величают, бранятся...

Стартер движется с выразительностью танцора. «Слева от вас – экспрессы, с десятого до восемнадцатого, справа – локалы, с первого до десятого. Да, sir, шиншиллы наверху, да, madam, масоны в мезонине. О нет, святой отец, parlor B<sup>28</sup> на восемнадцатом, да, масоны в мезонине, совершенно верно, шиншиллы, простите, да, кардинал и шиншиллы на одном этаже, Joe. Слева от вас и справа от вас, да, нет, нет, нет, да...

И Антанас Гаршва продолжает ритуал. Экспересс – с десятого до восемнадцатого. Ваш этаж, пожалуйста, спасибо, он нажимает кнопку, этаж, спасибо, пожалуйста, кнопку, спасибо, пожалуйста, спасибо... Загорается зеленая стрелка, Антанас Гаршва протягивает руку в белой перчатке, все, мы поднимаемся. Он дергает рукоятку, двери закрываются, и лифт идет вверх. Мерцают цифры пронесшихся мимо этажей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.10-й. Одиннадцатый, пожалуйста, спасибо, гость выходит, рукой за рукоятку, поднимаемся, кто-то останавливает лифт на тринадцатом, двери открываются, гость входит, ваш этаж, пожалуйста, кнопку, спасибо, рукой за рукоятку. 14,15,16-й, пожалуйста, спасибо, гость выходит, рукой за рукоятку, мы поднимаемся, 17-й, восемнадцатый, пожалуйста. Все выходят. Красный квадрат, зеленая стрелка, мы спускаемся, тот же ритуал и при спуске.

Up and down, up and down<sup>29</sup>, этаж за этажом, в строгом порядке, в отведенном пространстве. Новые боги сюда перенесли Сизифа. Эти боги гуманны. Камень лишили земного притяжения. Сизифу не нужны крепкие мышцы, не нужны тугие жилы. Триумф ритма и контрапункта. Синтез, гармония, up and down, Антанас Гаршва работает элегантно. Пожалуйста, и его зубы сверкают, спасибо, опять сверкают зубы, он пластично вскидывает руку, весь его стройный облик ненавязчив и приятен для пассажиров. «Сразу узнаешь европейца», – сказала однажды старушка приятной наружности. – «Европейцы читают книги», – вздохнула она.

---

<sup>27</sup> Вечеринка «Геркулесовых дам» (англ.).

<sup>28</sup> Салон, отдельный зал или кабинет (англ.).

<sup>29</sup> Вверх и вниз (англ.)

## 3

Полутемная читальня в каунасском центральном книжном магазине. Длинные, обшарпанные столы, вчерашние газеты, скрепленные с помощью желтой палочки. На стенах литографии Гядиминаса, Миндаугаса, Валанчюса. И книжный раздел. Шкафы были повернуты задом, и в единственном простенке, за некрашеным столом торчал очкастый владелец. Дневные читатели, небритые и позевывающие от утренней скуки, точно мокрые воробьи, сидели, склонившись над газетами. Антанасу Гаршве было четырнадцать лет, он жил и учился в Каунасе, а его отец учительствовал в провинции. Иногда Антанас Гаршва пропускал уроки и, набрав книг, подпирал худыми руками свое лицо, его школьный пиджачок лоснился на локтях, а молодой мозг вбирал в себя буквы и предложения. Корешки книг были обтянуты коричневым материалом, сами книги – в переплетах из твердого, черного картона. Толстые и тонкие. Одну солидную книгу Антанас Гаршва читал дважды, и это заметил хозяин магазина, он иронически поинтересовался: «Не заснешь, а?» В ученической тетради появились записи фраз и понятий – он фиксировал их с пылом неопита.

Мы несчастны в одиночестве, и мы также несчастны в обществе; в браке и холостяцкой жизни; подобно ежам, мы сбиваемся в кучу, чтобы согреться, но в толчее страшно неудобно, и расстаемся мы еще более несчастными; оптимизм, по сути, горькая насмешка над людским страданием; жизнь есть зло, ибо жизнь – это война; чем совершеннее организм, тем глубже страдание; девиз истории: *eadem sed aliter*<sup>30</sup>, выше не подняться даже осмысленному интеллекту – это дается лишь волевым усилием, сознательным или бессознательным; тело есть продукт воли.

Вот так вбирал в себя Антанас Гаршва Шопенгауэра. Вместе с толстым пессимистом проталкивались и герои более тонких книг. Скакал всадник без головы, и вокруг его головы светился ореол из томагавков; сумасшедшая леди Макбет протягивала к рампе свои руки, которые нельзя было отмыть; благовоспитанный кабальеро Гюстава Эмара даже перед смертью подметал перьями своих шляп пол и склонялся в бесчисленных поклонах; в очень и очень глубокие размышления пускался Раскольников, решившийся на убийство никчемной старухи; трепетал гомункул Гёте; гоголевский черт хватал в полнолуние раскаленный месяц, висевший над украинской деревней. Глаза у книг – точь-в-точь как у скульптур: они смотрели Гаршве прямо в душу, и все заполненное книгами пространство заслоняли черные распростертые крылья. Уже не было больше покрытых пылью окон читальни, и уже не разбирало больше любопытство, отчего это так смеются гимназистки на втором этаже гимназии «Аушра». Жизнь – это зло. Фраза казалась точной, неопровержимой, ее нельзя было переиначить, как нельзя было вдохнуть в себя воздух на улице Лукшиса, где селедочный дух из еврейских лавчонок вызывал жажду, где лестница в Народном доме была заблевана случайно забредавшими сюда пьяницами и где в комнатенке стоял застарелый запах краковской колбасы, голландского сыра, грязного белья, раскисшей кожи на старых башмаках и ножного пота. И эти обгрызанные ногти при решении тригонометрических шарад, и этот проклятый авитаминозный прыщ на лбу; над ним потешались девчонки в гимназии и не хотели с Гаршвой танцевать на вечерах. И это юношеское желание смерти, хотя жизни он еще так и не вкусил.

Антанаса Гаршву одолели два коллаборациониста: Шопенгауэр и очкастый владелец книжного магазина, с геморроидальным юмором вопрошавший: «Не стянешь, а?» Антанас Гаршва поверил им и в одну из осенних суббот, возвращаясь из гимназии, завернул в лавчонку на улице Лукшиса. Он потребовал веревку.

– Сколько метров? – поинтересовался старый еврей с купеческой дотошностью.

<sup>30</sup> То же самое, но по-другому (*лат.*).

«Моя смерть измеряется метрами», – с грустью отметил про себя Гаршва.

– Попрошу три метра, думаю, хватит, – ответил он.

– Уезжаете? – допытывался еврей, отмеряя веревку. –

Далеко?

– Далеко, – подтвердил Гаршва.

«Моя смерть длиною в три метра», – сформулировал он свою мысль и решил, что это будет последняя запись в тетради крылатых выражений. Придуманная лично им самим.

В воскресенье он помыл ноги, почистил зубы и, сунув веревку в бумажный мешочек, отправился в Паесис. Он повесится в чаще леса. Труп его найдут не скоро. Черные вороны выклюют ему глаза, бедный гимназист будет висеть в чаще, и невозможно будет установить причину самоубийства. Ведь он никого не любил! Порой душа гимназиста может быть такой же глубокой, как у Шопенгауэра или Достоевского, – решат следователи из криминальной полиции.

Мокрая глина Паесиса напитала ботинки Гаршвы влагой. Он продрог, и его била дрожь. Нагие ивовые ветки хлестали его по лицу, он ойкнул, когда самой толстой ветвью расцарапало прыщ на лбу. В этих зарослях не нашлось ни одного надежного дерева. Он увидел холодный и мрачный Неман и шанчжайские домишки, которые выглядели под стать водной пустынной глади. Он достал из мешочка веревку. Ее чистая белизна резко контрастировала с пейзажем.

– Смерть красива, – проговорил он вполголоса. – Смерть божественна. Я благороднее самого Муция Сцевола. Сущие пустыки обжечь руку. Я единственный последователь стойков в Каунасской мужской гимназии. Сейчас вот умру, потому что только так смогу противостоять воле Шопенгауэра.

Наконец Гаршва нашел подходящую осину и стал привязывать к ветке веревку. Он по-прежнему дрожал, а осина стояла прямая. И когда приготовленная веревка элегантно повисла, перекинутая через ветку, Антанас Гаршва опустился рядом на колени.

– Боже, о, мой Боже! Я умираю, я умираю. Как грустно. Я действительно умираю.

Антанас Гаршва перекрестился, встал с колен и, наломав веток, набросал их вниз, под петли. После чего взобрался на незажженный костер и просунул голову в петлю. Оставалось отпрыгнуть в сторону.

«О, если бы горел этот костер! Он бы не дрожал тогда, он бы нюхал, вдыхал дым, его ноги согрелись бы. Как героически умирали христиане! Они возводили глаза к небу». И Антанас Гаршва поглядел на небо. Недвижно стыла свинцовая завеса облаков. Ну, что, прыгнуть в сторону? Холодно. Надо повторять про себя, что очень холодно, что нужно согреться, а в кармане – спички. Теперь

Гаршва совершенно явственно ощутил в правом кармане брюк спичечный коробок. Даже почувствовал, как коробок упирался ему в бедро острым краем. И в этот миг он едва не потерял сознание. Пришел страх, и лишь секундное промедление спасло его. Назойливый страх чуть было не выбил из-под ног груды веток. Но рассудок победил, сердце бешено колотилось. Антанас Гаршва высвободил голову из петли и спрыгнул на землю. Он вытащил из кармана спичечный коробок. И зажег одну спичку. Муций Сцевола, первые христиане, стойки и Господь Бог исчезли. Он торопливо стал взбираться в гору, чтобы скорее выбраться на дорогу. В Народном доме в своей комнатенке он долго растирал полотенцем мокрые ноги и потом забрался под одеяло, держа в одной руке сборник фельетонов Пивошаса, а в другой – здоровый кусок краковской колбасы. Было так уютно. В какой-то момент ему вспомнилась одинокая петля в Паесисе, но он тотчас же о ней забыл. И проспал одиннадцать часов подряд.

Лифт поднимается вверх, лифт замирает. Чистые, солидные мasons, с шиком надушенные, словно обычные бизнесмены, выходят (здесь, в мезонине, останавливается и экспресс). Четверо чанкайшистских офицеров с раскрасневшимися от коктейлей щечками, подчерк-

нуто любезные и расторопные, покидают кабину лифта на одиннадцатом. Сгрудившись, стоят четыре духовных лица, поляки. Антанас Гаршва выпускает их на последнем этаже.

– Восемнадцатый, – говорит он по-польски.

– О, сын мой! – приятно удивлен один из них, он воздевает руку, как будто благословляя. Симпатичная старушка читает стихи. Она цитировала Мак-Нейса<sup>31</sup>.

I am not yet born, o fill me  
with strength against those who would freeze my  
humanity, would drag me into a lethal automaton,  
would make me a cog in a machine, a thing with  
one face, a thing...<sup>32</sup>

Дальше я не помню. Толстые и тонкие, на мелованной бумаге и на дереве, пергаменты и папирусы, глиняные дощечки и наскальные иероглифы, выдолбленные острым камнем над бездной. Книжки. Я еще не родился. Не написал хорошей книжки. А старушка скоро умрет, она и так уже зажилась. Она зачитывается поэзией после Второй мировой войны. Она не работает, она живет с капитала, а мне остается быть шестеренкой здесь, в лифте. Выражение моего лица, моя рука в белой перчатке, моя осанка, моя манера изъясняться – все свидетельствует о том, что я добросовестная шестеренка.

Однажды растение потянулось ввысь, корни его вырвались из земли, пестрой бабочкой летит оно над лугом. Однажды... зверь разинул пасть, и бегают перья, выводя ноты. Однажды прижались друг к другу мягкотелые, и о любви поют поэты. Однажды время повернуло вспять, и я превратился в шестеренку. И не удивлюсь, если мои потомки обратятся в ослов, в пеларгонии и просто в камни. Какая неприятность! Два камня будут лежать рядом и не смогут поболтать. О речи Черчилля, о поэзии Рильке, о парижские шляпки, о – какой непорядочный этот Пятрайтис и какой добродетельный я сам, но, увы, ни о чем таком не смогут поболтать между собой камни. Останутся лишь звезды, лунное свечение, атональная музыка воды.

Я хотел бы стать камнем, водой, луной, звездой. Хотел бы сохранить глаза и чувствовать окружающий мир. Хотел бы по-прежнему созерцать живую жизнь и знать, что я еще не утратил эту способность. Мне трудно превращаться в винтик в машине, потому что я до сих пор помню удары Эляниных кулаков в дверь моей комнаты.

Я ее не впустил. Слышал, как она звала меня по имени и всхлипывала, и сердилась, и медленными шагами, то и дело останавливаясь, спускалась по лестнице. Через окно я видел, как она шла по улице. Видел ее лицо, несколько раз она взглянула вверх. И мне тяжело, ибо все еще хочется писать. А разве Эляна поможет мне писать? Что это, проявление крайней степени индивидуализма? Укоренившееся эгоистичное желание использовать ближнего своего? Получить удовлетворение в постели и вдобавок вывести несколько легенд? И во имя удачи, ради одного приличного стихотворения, значит, надо специально организовать для себя страдание, организовать для себя материал?

Нанять слугу?

Он будет следовать за мной, держать зонтик над моей головой, и я смогу созерцать дождь и даже анализировать его, и меня ничуть не намочит. Но я хочу брести один, с непокрытой головой, и пусть мне никто не помогает. Up and down, up and down. Старые легенды не умирают. В бессмысленности сизифова труда обнаруживается некая правда. Когда Сизиф упадет в бессилии, другой подставит свое плечо, подхватит камень.

---

<sup>31</sup> Л. Мак-Нейс (1907–1963) – английский поэт

<sup>32</sup> Я еще не родился, о, наполни меня силой, чтобы противостоять тем, кто попытается сделать мою человечность оцепенелой, заставит умереть меня несущим автоматом, превратит меня в машинный винтик, в вещь с одним-единственным лицом, в вещь... (англ.).

«Сегодня отличная погода», – говорит Гаршва серенькому господину, вздумавшему прогуляться по 34-й. «Вы сможете славно пообедать внизу» – это уже молодоженам, в глазах у которых отблески недавних объятий. «О да, Роки Марциано, вне всякого сомнения, победит» – это бывшему боксеру, важно потирающему свой сломанный нос. «Нет, мадам, я не француз» – это по-девичьи оживленной старушке.

И все-таки я не могу забыть. Все проблемы отступают перед серебристостью Эяны. Я чувствую этот серый тон. Ведь, по сути, мое отречение не было продиктовано усталостью или внезапно нахлынувшей скукой.

Двое людей. Два камня, способных говорить и чувствовать.

– Совершенно верно, шиншиллы на восемнадцатом этаже, сэр.

Они торчат в своих деревянных норах, поглядывают на всех невинными глазками и упле-тают солому. Эдакие облезлые кролики, вот тебе и шиншиллы. И какого черта с них сдирают шкуру и шьют шубы.

## 4

Легкий «студебеккер» с жужжанием несся по автостраде. По обеим сторонам стояли зеленые деревья. Изогнутые мосты пролетали над головой, радио на мгновение примолкло, затем певец снова начинал горланить своим резким, металлическим голосом. Инженер классно водил машину. Он незаметно снижал скорость на поворотах, а когда автострада вонзалась в голубой клочок неба, счетчик показывал семьдесят миль.

Эляна расположилась рядом с Гаршвой на заднем сиденье. Маленькая женщина в сером платье, с пепельными волосами, серыми глазами и лицом балдовинеттской<sup>33</sup> мадонны. Пухлые губы – деталь, которую художник использовал для того, чтобы подчеркнуть серый тон. В ее тонких пальцах дымилась сигарета, и этот анахронизм был под стать пухлым губам. Очевидно, она в спешке натягивала чулки, шов на правой ноге сильно перекручен. Впереди – широкая спина инженера; монумент, надежное укрытие, эта монументальность еще больше подчеркивала Элянину хрупкость, мелкость пропорций, уютную доверчивость мраморного портика. От сигареты вился голубой дымок, и серые глаза посматривали на Гаршву со спокойным любопытством. «Студебеккер» катил по серой автостраде, зелень лиственного леса как бы струилась по течению, и сама дорога напоминала замерзшую воду канала, по голубому небу скользили ключья серых облаков, и когда неожиданно проглядывало солнце, тогда легкий слой пудры на лице Эляны напоминал серый блик, который отбрасывала мерно покачивающаяся машина.

– Вы любите природу? – задала она банальный вопрос, поскольку молчание затянулось, и выбросила окурок в окно. Окурок улетел прочь внезапно умершей бабочкой, и в этом механическом мире затрепетали никогда не умирающие старые тени. Нимфа с невыразительной внешностью опустила ноги в родниковую воду, худой фавн подглядывал за нею, внутри машины было накурено, поэтому стали проветривать, и серые клубы дыма плавно ускользали в открытые окна.

– Я люблю воду, – ответил Гаршва.

Автострада сделала разворот, захватив кварталы миллионеров. Мимо замелькали пуритански подстриженные парки, виллы в колониальном стиле, промелькнули школа танцев Фреда Астера, пара не поставленных в гараж «кадиллаков», и последним исчез красный рекламный щит Shell.

– А моя жена не любит природу. Она по-прежнему влюблена в Вильнюс, – бросил через плечо инженер и прибавил звук в автомобильном радио. Как раз передавали самый последний шлягер, певица хрипловатым меццо-сопрано молила обнять ее снова и снова и с хорошо продуманной чувственностью стонала.

Гаршва внимательно оглядел волосы Эляны, солнце опять спряталось, и сидящая рядом женщина теперь напоминала задумчивого ребенка, склонившегося над деревянными чурбачками.

– А я в Вильнюсе не жил. Помню его лишь по частым наездам. Мне запал в душу один случай. Представьте, узкая улочка в еврейском гетто. Происходило это в тридцать девятом году. Странное дело, возле перекинутого мостика, соединявшего домишки, вдруг повстречалась мне монашка, молодая, бледная, она заблудилась и спросила у меня дорогу, а я точно не мог сказать. Предложил ей поискать вместе. Мы шли вдвоем и не знали, о чем говорить. Было лето, где-то около полудня, домики выглядели нежилыми, по пути нам встретился чумазый мальчуган, но добиться от него толку так и не удалось, хотя я и дал ему несколько центов. Моя попутчица даже улыбнулась при этом. Уже не помню, как мы очутились неподалеку от

<sup>33</sup> Алессо Балдовинетти – итальянский художник XVI века.

Аушрос Вартай<sup>34</sup>. Прощаясь, монашка произнесла: «Да благословит вас Господь» – и слегка покраснела. Не знаю, но почему-то то давнее блуждание у меня ассоциируется с атмосферой Вильнюса. Жизнь этого города всегда была глубоко скрыта от меня. Я просто-напросто заблудился в Вильнюсе.

– Надо было назначить монашке rendez-vous, возможно, тогда жизнь города и приоткрылась бы для вас, – снова весело заметил инженер. У Эяны дрогнули губы.

– Боюсь, она меня бы перекрестила и этим бы все и закончилось, – парировал Гаршва.

– А вы обратили внимание на скульптуры на карнизах домов, на головы умерших дворян на фасаде? На этой самой улице Пилимо? – спросила Эяна, не глядя на Гаршву.

– Я плохо помню. Вроде видел.

– Это они заставили вас блуждать, – и она улыbnулась каким-то своим мыслям, словно в машине больше никого не было. Инженер вдруг обернулся.

– Что ты сказала?

– Ничего особенного. Просто мы вспоминали улицу Пилимо.

– А, – инженер сосредоточился на управлении машиной.

Грустная мелодия, сменившая чувственные стенания меццо-сопрано, наполнила душу печалью и вознесла тело ввысь. Зелень лиственного леса за окном исчезла. Теперь автострада пролегла среди болот. На озерках, этих болотистых лужицах, в глаза бросались рыбацьи лодки, деревянные будочки по берегам, камышовые заросли. Болота накрывал огромный небесный колпак, совершенно серый, нигде не проглядывало ни одной голубой проплешины, солнечный свет слабо сочился из-за туч, тучи были какого-то стального оттенка, и все это навевало тоску, а в салоне машины между тем рождался заговор. Руки женщины лежали на коленях, руки мужчины – на клеенчатом чехле. И женщина начала учащенно дышать, мужчина же слышал удары собственного сердца. В студеной родниковой воде у нимфы замерзли ноги, а хлынувший солнечный свет заставил фавна зажмуриться. Они оба неотвратимо приближались друг к другу, точно две статуи, которые подталкивают привидения.

– Раз уж мы начали с вами этот разговор, осмелюсь заметить, что детали заставляют атмосферу лучиться, – тихо произнес Гаршва, чтобы услышала только Эяна. – А вы могли бы рассказать мне об этих скульптурах дворян?

– Когда-нибудь, – тихо откликнулась Эяна.

– А вот и башня Jones Beach, – воскликнул инженер.

На горизонте проступило очертание острого четырехугольника, они остановились у длинного моста, инженер сунул охраннику пару монет, и когда машина снова покатила по дороге, возвышавшейся над озерками, раскиданными среди болот, в салоне произошло что-то неуловимое. Гаршва подался вперед, а Эяна, наоборот, откинулась и замерла, съевшись в уголке. Так они и въехали на площадку для стоянки машин. Затем мужчины выбрались наружу, они курили и ждали, пока Эяна переоденется. Потом настала их очередь переодеваться, и наконец они все трое в купальных костюмах двинулись к воде по цементной дорожке. Сосновый дух льнул к их освобожденным от одежды телам, Эяна нагнулась и сорвала ромашку, а ее муж поглаживал свою волосатую грудь. Гаршва разглядывал женскую фигурку, обтянутую зеленоватым купальным костюмом. Эяна и в нем была такая же неприметная, как и в своем платье без претензий. Сложена она была на редкость пропорционально, и в этой ее хрупкости, мелкости сквозила удивительная законченность – казалось, ее создал сам бог женщин. С варварской свирепостью печатал шаги ее муж, этот кентавр, совсем недавно превратившийся в человека и научившийся ходить. И долговязый фавн, подобно скульптуре Лямбрука, с еще юношески крепкими мускулами и походкой легкоатлета, но уже обремененный усталостью своего сорокалетнего возраста, замыкал шествие. Этим фавном был Гаршва.

---

<sup>34</sup> Место для богомольцев в Вильнюсе.

Опять выглянуло солнце. Они миновали закрытые бассейны, игровые площадки, индейскую палатку со специально нанятым индейцем (он рассказывал детям сказки) и ступили на деревянный настил с устроенным рядом кафетерием. Прямо перед ними колыхалось людское море, напоминавшее то ли паводок, то ли монгольский лагерь. Разноцветные зонтики от солнца, воткнутые в песок; тысячи загорелых тел в постоянном движении, брошенные бутылки – они поблескивали как-то по-особому, направляя поток света, словно прожектора; разногласный шум, ор, как будто монголы только что завершили свою атональную песнь, и теперь все звуки, каждый сам по себе, эхом отдавались под небесами, совсем как во времена Данте, – от них так и веяло вечностью. На деревянных возвышающихся помостах сидели молодые спасатели, скептически настроенные церберы, и пластичными жестами профессиональных пловцов предупреждали тех, кто заплывал слишком далеко. При этом покрикивали. А огромная река-океан билась в берег грядую волн, шумя и пенясь, отдавая и тут же забирая назад свои воды, и эту пузырящуюся влагу, принесенную в жертву, с наслаждением впитывал в себя сырой песок.

Они втроем влились в этот поток. Еще можно было видеть, как инженер брал напрокат зонтик от солнца, а Эяна и Гаршва беседовали, глядя на океан. Через мгновение троица смешалась с другими людьми. Миллион ньюйоркцев купался в этот день на Jones Beach.

Мне осталось сорок минут. Затем последует получасовой перерыв. Я выкурю две сигареты. Поболтаю со Стенли. Без белых перчаток. Хорошо. Благодатный покой неожиданно снизошел на меня. Даже приятно ездить в лифте. И клиенты мои вполне симпатичные. Этот масон, у которого с таким вкусом подобран одноцветный галстук, пожалуй, заплакал бы, услышав вариации Wieniawsky. А если бы я рассказал ему о своем прошлом, он бы предложил мне бесплатное путешествие и отдых во Флориде. Потому что его предки никогда не отвешивали оплеух своему управляющему в Луэбеке, населенном сплошь одними неграми. Эта женщина, выкрашенная в рыжий цвет, с широким, красным ртом, серьги у нее точь-в-точь слегка уменьшенные негритянские кольца, субботними ночами клянется мужу в любви до гробовой доски. И неважно, что она похожа на вампира. Трое невинных детишек вцепились в ее юбку, и вампир рассказывает сказки про добрых гномов, про поющую кость, про Йоринга и Йорингу, про колдуна, который велел своей жене снести яйцо, про Rip van Winkle<sup>35</sup>, играющего в кегли в горах, про, про, про... Как беспокойно вампиру! Он оставил на полчаса детишек одних дома и горит желанием поскорей вернуться. У этого тщедушного ксендза всего несколько десятицентовых в кармане. Все свое жалованье он раздает бедным. Когда ксендз проходит по Третьей авеню, вокруг собирается толпа нищих и слушает божественное слово. Про любовь к ближнему, про то, как верблюд пролезает в игольное ушко, и про то, как Христос делит хлебы и рыб между страждущими. И ксендз раздает им доллары, центы, а нищие грудятся вокруг. Слово и дело – какой удивительный синтез носит в себе этот тщедушный ксендз.

Благодатный покой неожиданно снизошел на меня. Я понял, что такое пустыня. Песок, власяница странника, шелест сухой листвы, выгоревшая палатка, о, странник, своей медитацией ты заслужил Божью милость, Святой Дух птицей кружит у тебя над головой, и прямые солнечные лучи вонзаются в твое сердце. Экстаз. Ничего нет – ни разума, ни сознания, ни греческих идей, ни восточного фатума. Низвергнут Демиург, дрожит бесенок, перепуганный, сжавшийся в комок. Святой Дух, недоступная мудрость сокрыта в Твоих прямых солнечных лучах, их прочертили по линейке под куполами. Up and down, up and down. Камень катится, и это несет покой. Я люблю бессмысленность. Люди входят, люди выходят. Неужели именно мне дано понять вращение колес во вселенной?

Я неофит одиночества и эпигон Христа. Я помню Твои протянутые руки и удивление на лице Лазаря. Вижу волосы на Твоих ногах, эти ноги целует Магдалина. И вижу Твои напря-

<sup>35</sup> Герой новелл американского писателя Вашингтона Ирвинга.

женные мускулы, чувствую Твое нервное раздражение, а купцы с товаром катятся по ступеням храма. Я понимаю Твою подсознательную интуицию. Ты говоришь сравнениями. Ты знаешь – надо искать. По пути на Голгофу с Тобой были помощники: удары палок, кровь, босяки-ассистенты, пронзенный бок, застывшая глаза тьма. Вспомнил ли о Тебе Твой Отец? Да, Твое имя пишется с большой буквы – это привычка, она осталась.

Брат мой, Любимый мой, услышь меня.

Мой грех, мое безумие, мой крик, мое жизнелюбие, моя радость – *lioj ridij augo*<sup>36</sup>.

Мой Лифт, мой Подъемник – услышь меня.

Мое Детство – услышь меня.

Моя Смерть – услышь меня.

Приди в этот отель, коснись моих уложенных волос, подмигни менеджеру, дай беллмену на чай.

Возвести.

Скажи то единственное Слово.

Ведь я же погибаю в благодатном покое.

Меня опалает нью-йоркская пустыня.

И я исчезну, напуганный и покладистый, исчезну, обнимая съездившегося Демиурга.

Мой Христос, услышь меня, мой Христос – я молюсь

Тебе.

*O felix culpa guae talem ac tantum meruit habere redemptorem!*<sup>37</sup>

Зоори, Зоори, *lepo, leputeli, lioj, ridij, augo*, неужели снова защелкал соловей в Аукштои Панемуне?

В моем лифте часто поднимается и спускается шестнадцатилетняя девушка, подружка продавщицы сигарет. Она такая искренняя. И очень ко мне расположена.

– А в мезонине водится крупная рыбешка? – интересуется она.

– О, уеа, думаю, кошельки у них туго набиты, – отвечаю ей дружески и даже подмигиваю.

– Вчера один старичок гладил меня целых два часа и ничего не сделал. Зато отвалил двадцать баксов. Наверное, от стыда.

– Тебе повезло, Лили.

– Не всегда так бывает. Неделю, а то и две назад, крутилась, как циркачка на трапеции.

Лили смеется. Она смеется так, будто входит в голубое озеро с любимым, который не осмеливается к ней прикоснуться.

– Удачи тебе, Лили.

– Спасибо, Тони.

Юные девушки для меня не существуют. Однажды я поменял маленький провинциальный городок на миниатюрный столичный град. На Каунас. Скромные девчушки сделали себе прически, покрасили губы, встали на высокие каблуки, научились вращать бедрами, а краснели они теперь лишь от ликера, разгоряченные принятым спиртным. Я не нашел в них прежней милой глупости. Пробираешься через болото по колыхающимся кочкам – на другом берегу озера целомудренно мерцает смугловатое тело, а ты, совсем как ясновидящий, смотришь на него сквозь хрустальный шар. Увы, я не нашел вдохновенной лжи. Той, которая была в рассказах моего отца, в рассказах детских писателей, в скаутских песенках, в безыскусных олеографиях, где ангелочки выглядят такими довольными, потому что их рисовал исполненный оптимизма невежда. Я не мог больше мечтать. Отныне я твердо усвоил: предаваться мечтаньям можно только на бумаге, да и то в замаскированном виде, чтобы придиричivé друзья

---

<sup>36</sup> Здесь и далее труднопереводимое литовское присловье.

<sup>37</sup> \* \* \* Счастлива та вина, которая заслуживает такого испупителя! (*лат.*).

и критики не возопили: «Господин хороший! Вы, уважаемый, ударяетесь в сентиментализм!» Часто мне хотелось заплакать, когда я набредал на распутившийся цветок; когда видел лунный свет на воде; светлые волосы, особенно если их трепал весенний ветер; порой мне хотелось плакать при виде жужжащей мухи. Но этого нельзя было делать. В мозгу у меня засел суровый клерк. Он сортирует мысли и чувства. Сорок лет сидит этот клерк на одном и том же стуле. Вот почему он так педантичен и неумолим. Нет, уважаемые, этому господину непозволительно быть сентиментальным! С глаз долой все эти бумаги, чирк, чирк, и в корзину. Пускай достаются уборщице. Он весьма логичен, этот суровый клерк. Ослушаешься его – и сразу все потеряешь. Как Данте небо, как Достоевский своих хнычущих героев.

Прозрачный шар ясновидящего. Держись, Лили. Копи. Приобретешь магазинчик и найдешь себе мужа, который пьет пиво только по воскресеньям. Сам Данте не найдет для тебя подходящего круга ада, и Достоевский тоже не отважится выжимать из такой девушки слезу. Так что крутись на трапедии, Лили!

Антанас Гаршва бросает взгляд на часы. Мне осталось семнадцать минут. О, спасительная сигарета, я молюсь тебе! Мой Христос, что ты чувствовал, когда Магдалина склонилась у Твоих ног? Когда-то я любил Йоне и считал... Впрочем, разве так важно, что я считал? Если вдруг впаду в идиотизм и расплачусь в лифте, очень сомневаюсь, что найдется хотя бы один писатель, который сумеет художественно изобразить мои слезы. Лучше выругаться. Это помогает. Проклятые сукины дети, истрепанные проститутки, импотенты, жалкие подлизы, вонючие людишки, страдающие дизентерией, сифилитики, альфонсы, говноеды, некрофилы, любители старушек. Какую мерзость еще можно придумать?

– Чудесная погода, мадам. Вы сегодня замечательно выглядите! С трудом вас узнал, – говорит Гаршва шестидесятилетней обитательнице отеля.

– Вы обворожительны, – отвечает она. И при этом оба улыбаются.

## 5

**Из записок Антанаса Гаршвы**

Женщины в моей жизни возникали эпизодически. Я глубоко усвоил слова одной полу-проститутки. «Никогда не расходуйся на все сто процентов. Как можно больше ожесточения и как можно меньше чувства. Изгиб шеи у тебя – детский. А глаза и ресницы – женские. Но любишь ты по-мужски. Сражайся, и ты победишь».

И я сражался. Осваивал любовную науку. Даже научился всяким психологическим реакциям. Нежность я разбавлял едким сарказмом. Проникновенно цитировал какое-нибудь подходящее стихотворение и тут же отпускал язвительное замечание вслед прохожему. Я сознательно управлял страстью, делал так, чтобы буря разразилась внезапно, в тот момент, когда партнерша окончательно убедится, будто я полностью иссяк. Мне всегда удавалось внушить мысль: я покину тебя первым, береги же меня. Я умел вносить разнообразие. Вовремя загрустить, вовремя развеселиться. Случалось мне и к месту разозлиться, а потом прикинуться огорченным. Я умудрялся подсластить так называемую любовь дружелюбием. Поэтому, расставшись со мной, бывшие любовницы становились как бы коммивояжерами и всю меня рекламировали.

Мои женщины оттеняли меня, подобно тому как стул на картинах Matisse еще сильнее высвечивает синюю монументальность обивки стены. В своей любви к ним я с наибольшей остротой ощущал окружающую меня действительность. Вдруг обнаруживались предметы и их очертания, мимо которых раньше я проходил равнодушно. Небо, стена дома, распустившаяся сирень, пушистая головенка малыша, улицы в призрачном свете фонарей, далекие гудки паровозов – и мне становилось ясно все. У меня предостаточно жизненного материала, я переполнен, мне надо писать, надо расставаться с любимой, пора побыть в одиночестве, пока все не поблекло, не потускнело, не утратило своего рельефа и красок.

Я всегда знал: за сближением последует разрыв. Наступит конец. В тот самый миг, когда я соединялся с любимой в тесном неразрывном объятии, когда я взмывал под небеса, уносясь в рай, в моем сознании на древе смерти проклевывались листочки – и они пророчили скорую гибель, и я сразу мрачнел. Я словно отдавал последние крохи любви. Меня охватывало злое чувство: ведь все это предназначалось совсем другой женщине. Я вспомнил Йоне. Теоретически получалось: отказавшись от нее, я обрел эту женщину. В этом парадоксальном утешении явно сквозила насмешка, так маска дервиша поражает своими гротескными чертами.

В каких-нибудь трех километрах от маленького городка, за осушенными болотами, где все еще расхаживали аисты, покрикивали чибисы, оплакивали свою судьбу утопленницы и утопленники, – лежало озеро. Скучное озерко в окружении серых холмов. И когда я, девятнадцатилетний парень, переплывал на другую сторону, где очень илистый берег и полным-полно желтых кувшинок, я знал: через час-другой сюда придет Йоне, и мы будем наблюдать друг за другом, а потом вместе вернемся домой.

Купаться вдвоем мы не могли. Городок не признавал купальных костюмов. Мужчины и женщины плескались раздельно, на разных концах узкого озерка. Они ясно видели голые тела друг друга, и по воскресеньям, обычно после полудня, мужчины и женщины обменивались стандартными остротами по поводу всех этих телесных особенностей, и звонкий смех оглашал окрестности. Довольно часто какая-нибудь парочка, надумавшая пожениться, уже заранее постреливала глазами, разглядывая друг дружку и завязывая таким образом интимные отношения, и когда пунцовая невеста под руку со своим бледным от волнения женихом переступали порог костела, он не был ей таким уж чужим, и она с нежной покорностью клонила голову к его надежному плечу.

Мы с Йоне были отдыхающими горожанами – каунасцами, и купались мы в купальных костюмах, но плавать рядышком нам не позволяла местная мораль. Йоне, будучи бедной, воспитывалась у своих родственников, именно они и отдали ее в гимназию: почтенный нотариус, посвятивший себя преферансу, и почтенная его половина – зубной врач, которая терпеть не могла ставить пломбы и без малейшего сожаления выдирала любой зуб.

Я до сих пор помню эту шестнадцатилетнюю девушку в сильно обтягивающем платье, с добрыми глазами; я не забыл ее стройного, тренированного тела; я и сегодня люблю ее испуг, ее отвечающие на мой поцелуй губы, ее восторженное отношение к моим идиотским стихам. Утрата Йоне для меня равносильна утрате юности, когда незамутненная жизнь кончается и начинается осторожная и коварная борьба со смертью.

Познакомились мы на вечеринке, эдаком маскараде, который устроили пожарники-добровольцы. Весь потолок небольшого зала в местной средней школе устроители вечера оплели бумажными лентами, используя национальные цвета. В центре они свивались в своеобразный лампийон, и казалось, вечеринка проходит под знаком сближения литовцев и китайцев.

Маски слонялись по залу, не зная, чем заняться. Служанка Зосе, изображавшая сноп соломы, забилась в угол, танцоры то и дело задевали ее плетеную юбку, а на ее изготовление девушка потратила много недель, и теперь сухая солома сыпалась на пол. Зосе злилась, потому что ее замысловатый костюм так и не привлек к ней внимания ни одного ухажера.

В середине зала служащий почты Заляцкас пытался смешить публику, натянув на себя маску черта и прикрепив к бархатным штанам хвост из крашеной веревки. Этим хвостом он лупил по ногам танцоров, предлагая им отдельный кабинетик в аду. Никто не смеялся, и вскоре незадачливый черт вусмерть напился в буфете и уснул с громким храпом за столом: маска мешала ему дышать.

Еще были часы с циферблатом, нарисованным прямо на заду; шесть девушек в литовских костюмах, звездочет (остроконечная его шапочка быстро порвалась, а звезды отклеились), два зайца, один осел и кто-то еще.

Духовой оркестр пожарных играл вальсы, польки, суктинис<sup>38</sup>, единственный разученный фокстрот «Элите» и танго «Пантера» в темпе похоронного марша.

Киоскерша продала всего два рулончика серпантина, зато к ней забрался какой-то подросток и утащил пакетик конфетти, тут же разорвав его и разбросав по полу цветные кругляши. Почетные гости не танцевали и не веселились. Они пили в буфете.

Я как раз закончил в том году гимназию и проводил лето у отца. Вручив гардеробщице свою белоснежную студенческую шапочку, я гордо расхаживал по залу. Танцевал фокстрот с евреечкой из Йонавы. Мы договорились с нею прогуляться до семафора, который стоял на заброшенных железнодорожных путях. Здесь, рядом с бывшим вокзалом, парочки любили назначать встречи и предаваться незаконной любви.

Йоне пришла на вечеринку с двоюродным братом, сыном нотариуса. Его я хорошо знал. Прилизанные волоски Йоне по-мальчишески подстрижены. На ней была гимназическая форма. В этом году она перешла в восьмой класс, сообщил сын нотариуса. Я пригласил ее на танец. Ее тоненькая фигурка прижалась ко мне, наши головы соприкоснулись, и я ощутил под платьем ее детскую грудь. Так было модно тогда танцевать. Я вдыхал запах ее волос и вдруг разом утратил всю свою смелость, стал потихоньку отталкивать от себя девушку, при этом выделявая ногами что-то немислимое, чтобы хоть как-то оправдать это внезапное отдаление. Вокруг мелькали пары. «Дзин-дзин» – звенели медные тарелки, самозабвенно ввали трубы, одна из бумажных национальных лент отцепилась от китайского лампийона, и я во время танца сорвал ее. Наверное, Йоне что-то заметила в моем взгляде. Она спросила:

– Вы сердитесь?

---

<sup>38</sup> Литовский народный танец.

– Да оркестр нескладный, – ответил я.

Потом я провожал ее домой. Сын нотариуса еще раньше исчез вместе с евреечкой из Йонавы. Теплой летней ночью мы шли по узкому тротуару, шагать надо было осторожно, чтобы не упасть в придорожную канаву. Замечательный это был тротуар! Старый, истертый, скользкий, тут уж непременно следовало поддерживать Йоне повыше локтя. Ведь иначе она могла поскользнуться и упасть в тянущуюся вдоль дороги канаву.

И когда мы с нею подошли к дому нотариуса с длинной открытой верандой, остановились, не зная, о чем говорить.

– Красивая веранда, – произнес я.

– Иногда сижу ночью на веранде. Когда не спится, – откликнулась Йоне.

– О чем-нибудь думаете?

– Мечтаю.

– О чем?

Мы уселись на веранде на плетеную скамеечку. Прямо перед нами раскинулось пустое поле, залитое лунным светом. Редкие железнодорожные огоньки светились за этим полем тусклыми свечечками. Огоньки и болотный туман сливались с лунным светом.

Йоне ничего не ответила на мой вопрос, и я не знал, что мне делать дальше. Мне только-только исполнилось девятнадцать лет, но обниматься я любил, это дело мне было совсем не чуждо. Я даже завел книжечку, куда заносил имена любимых. Список состоял из белошвеек, фабричных работниц, проституток. Оставалось протянуть руку и осторожно коснуться Йониных волос. И если она не отодвинется, я обретал право на ее шею, плечи и губы. Однако ничего такого предпринимать я не стал, а лишь повторил свой вопрос.

– Так о чем вы мечтаете?

– Не знаю. Просто так. Сижу и смотрю в поле. Люблю теплую летнюю ночь, даже не могу заснуть.

Она шевельнулась.

– Я пойду домой, – произнесла она чуть слышно.

– Подождите. А мы будем дружить? – вдруг вырвалось у меня.

– Не знаю. Они меня стерегут. Я должна их слушаться.

И она рассказала про своего неимущего отца, сторожа Каунасской консерватории, про мать, прачку с набрякшими от вечных стирок руками, про то, что ей сильно повезло, так как нотариус вызвался ее опекать. Йоне поднялась.

– Давайтеждемся возвращения Витаутаса, – предложил я. Так звали сына нотариуса.

– Боюсь. Потом станет еще насмешничать.

Я так и не коснулся ее волос. Поднялся следом и пожал твердую ее руку, затем галантно поклонился, как учила меня мать. Как-то по-солдатски развернулся, неожиданно для себя замер на месте, повернулся, неловко согнулся и поцеловал Йоне в лоб. После чего тут же сбегал с веранды и припустил по узкому тротуару, чтобы как можно быстрее унести ноги от дома нотариуса и не выглядеть растерявшимся глупцом. Уже на повороте, когда я собирался юркнуть в свой проулок, налетел на весело посвистывающего сына нотариуса.

– Ну, как евреечка? – второпях осведомился я.

– Завтра у семафора опять будет дело. – Мы оба цинично посмеялись.

В следующую ночь было точно такое же полнолуние. Я сидел в комнате и смотрел через окно на лунные кратеры. Оттуда должна была прилететь ко мне Муза. Ибо я решил изучать литературу. Мне хотелось написать несколько стоящих стихотворений за лето, чтобы потом в университете числиться в талантах. На столе лежали книги. Verlaine, Baudelaire, Poe, «Тысяча и одна ночь». В руке я держал перо. Каждый миг я готовился к встрече с Музой, обитавшей среди лунных кратеров. Она должна была меня ослепить, пронзить, одарить. В ожидании ее на столе белел чистый лист бумаги. Тикал будильник. Городок спал, не лаяли собаки, не слышались

людские голоса. Я знал, вдохновение так вдруг не посещает поэта. И вот я сидел и наблюдал за лунными кратерами, слушал тиканье будильника и ждал. Но Муза и не думала появляться. «Ох, хоть бы какая собачонка забрехала или пьяный прохожий ругнулся под окном!» – стала донимать меня мысль. Однако было тихо. Я встал и взглянул в висевшее на стене зеркало. «Да, у меня действительно лицо поэта, – решил я. – Длинные волосы, мечтательные глаза. Правда, кожа слишком загорелая, но представим, что я живу в Бразилии, разве не может быть такое? А если начать курить трубку, пить вино, ругаться? Неужели нельзя обойтись без вдохновения?» Я принялся сочинять с холодным рассудком.

Спустя час я закончил стихотворение. Теперь трудно точно восстановить его по памяти. Что-то вроде того: на ветках липы тихо раскачивались три или четыре повешенных. Дул пронизывающий ветер. Девочка с растрепанными косами рыдала, обхватив ноги красавца-висельника. И поэт безгранично тосковал, ведь у остальных двух или трех несчастных не было такой страдающей девушки. И в конце я написал о том, как луна с ужасом взирала с небес на эту трагедию.

Я выпрямился с видом победителя. «Да, я поэт», – усмехнулся, еще раз бросив взгляд на себя в зеркало. Тогда я впервые заметил дырку в своем верхнем переднем зубе. Черное дупло портило улыбку. «Всюду кратеры», – подумал я. И снова, как когда-то в Паланге, гордость мгновенно истаяла во мне. Еще раз пробежал глазами стихотворение. Оно мне разонравилось. «Повсюду кратеры, кратеры, кратеры», – повторял я сквозь стиснутые зубы. Вот эти самые поэты, чьи томики стихов лежат на моем столе, своими совершенными строфами уничтожают мою жалкую поэзию. И где мне найти оливковое дерево, сидя под которым я смог бы, подобно Гомеру, ронять в пространство мраморную красоту? Надо встать и пойти прогуляться. Это лучшее средство от волнения. И я тихонько выскользнул за дверь.

Едва мои башмаки ритмично застучали по тротуару, на ум сразу пришла Йоне. Я поглядел на часы. Как раз за полночь. Вчера Йоне призналась: она любит помечтать на веранде. Вот чем можно уравновесить все эти кратеры! Сегодня ночью я протяну руку и коснусь ее волос, я не буду целовать ее в лоб, я крепко прижму ее к себе и стану целовать в губы. Нет, разумеется, я и помыслить не мог, что потащу Йоне к семафору! Нет! Я просто буду ее крепко обнимать. И так просижу с нею вдвоем куда дольше, чем над стихотворением о повешенных.

Веранда оказалась пуста. Никого на плетеной скамеечке. Как вчера, рядом простиралось безлюдное поле, залитое лунным светом. Редкие огоньки тусклыми свечечками светились там, вдали. И все так же огоньки, болотный туман сливались с призрачным лунным светом.

Я прождал два или три часа. Всякий шорох, отдаленный неясный звук, пролетевшая над головой летучая мышь, тишина, которая, казалось, наполнилась музыкой, только тональность ее была слишком высокой, плохо различимой, – все волновало меня, хотелось плакать, и я с трудом сдерживал себя. Йоне не вышла помечтать. Вернувшись домой, я разорвал стихотворение.

Каникулы подходили к концу, а я по-прежнему провожал Йоне до дома, когда мы возвращались с озера. Мы исходили с нею все болота. Я держал ее за руку, но так и не осмелился поцеловать, не решился даже спросить у Йоне, почему она тогда не вышла на веранду, почему не появилась там в последующие вечера. Ведь я целых две недели бродил вокруг дома нотариуса. Ночи были какие-то однообразные. Луна постепенно растапливала в небе свой левый край.

Однажды в полдень, когда мы возвращались после купания и Йоне так пахла водой, у меня вырвалось:

– А ты врунишка.

– Я? – удивилась она.

– Да, ты. И вовсе ты не мечтаешь на веранде. Я точно знаю. Две недели бродил вокруг твоего дома. Ты врунишка, а строишь из себя серьезного человека.

Йоне рассмеялась. У нее были кривоватые зубы, белые и сверкающие. Смеялась она долго, я даже разозлился.

– Нельзя смеяться над романтикой.

Йоне шагала рядом, с загорелыми ногами, в спортивных тапочках. Она сказала:

– Я не могла сидеть на веранде. Пришлось бы проходить через их комнаты, боялась всех разбудить. О веранде только мечтала.

– Могла бы через окно выбраться. Надо было спрыгнуть, всего-то метр от земли. Я знаю.

Йоне сцепила руки за спиной и на ходу принялась отшвыривать пятками комья земли, они летели в разные стороны.

– Я приду сегодня ночью. Ровно в двенадцать.

Йоне метнула на меня быстрый взгляд. Возможно,

я ошибался, но мне показалось, я заметил у нее в глазах испуг. Мы молча расстались, когда впереди замаячила городская водокачка. Я остался здесь, на болоте, и стоял до тех пор, пока Йонины загорелые ноги не скрылись за насыпью. До самого вечера я видел перед собой их упругое свечение.

Еще не пробило полночь, а я уже стоял возле веранды. Небо заволочло тучами. Болотный туман плыл над безлюдным полем и готовился заполнить всю улицу. Я чувствовал влажное прикосновение тумана. Какие-то бесформенные тела обвилились вокруг меня, и когда я замотал головой, желая стряхнуть их с себя, сотни чьих-то пальцев с нежной остервенелостью забрались ко мне за шиворот, и по коже пробежал озноб, я похолодел от предчувствия того, что скоро все окончательно завершится. Это не был обычный озноб, ночь выдалась теплая, скорее, то было хорошо знакомое томительное ожидание, наверное, именно так заявляет на тебя свои права строгая и заботливая мачеха.

Я провел рукой по лицу. Как тогда, в Паланге. Мне хотелось стоять и выкрикивать слова. Но они не должны были напоминать книжные заимствования. В моем сознании по-змеиному извивался крик. У моря возле черной воды на липкой земле громоздились какие-то обломки. Улитки странной формы, изнемогающие от жажды крабы, гниющая рыба да еще какие-то папоротники повисли возле самого лица, и разорвать эту завесу из привидений не было никаких сил.

Я обернулся. На веранде меня ждала Йоне. Даже не заметил, как она вылезла в окно. Я вбежал на веранду, схватил Йоне за руки и потянул за собой на улицу. Мы почти бегом добрались до железнодорожных путей, по которым давно не ходили поезда, зато здесь по-прежнему стоял семафор. Я сжал девушку изо всех сил, так что напряглись мускулы, а Йоне закричала. Потом впился в ее губы, и в тот же миг мои руки, крепкие и безжалостные, опрокинули ее на траву. Перед глазами блеснула ее нагота: бедра, темный треугольник внизу живота, и, когда я на минуту оторвался от девичьих губ, чтобы вобрать в легкие побольше воздуха, услышал ее резкий, гортанный крик.

Йоне кричала, а я снова видел перед собой черное море, груды больших каменных осколков (на самом деле это были сброшенные в кучу шпалы), я видел улиток странной формы, крабов, рыб, папоротники – все это сейчас надвигалось на нас. Йоне кричала, когда-то я уже слышал этот крик, тогда у меня не было ни рук, ни ног, и я комочком катился в незрячей тьме. Йоне кричала, и пульсировавшая во мне кровь, казалось, вот-вот хлынет из набухших жил. Ладонью я зажал Йоне рот. Она затихла, и я взял ее.

Когда все закончилось, я произнес:

– Оденся.

И пока она приводила себя в порядок, я не отрывал взгляда от семафора. Того самого семафора, покосившегося, с выбитыми сигнальными стеклами, с нацарапанными на нем ругательствами, с нарисованным сердцем. Повернулся я к ней как-то очень нерешительно.

– Ну, с тобой все в порядке? – спросил я.

– Ты порвал мне платье, – ответила Йоне и заплакала навзрыд.

– Идем домой. Ты держись рядом. Я тебя не трону, – проговорил я, уставясь в землю. Мы вместе вернулись в город. Понемногу она перестала плакать, слышалось только равномерное шмыганье носом. У веранды мы остановились.

– Не сердись, – попросил я. Потом тихо прибавил: Ты могла бы подождать?

– Чего? – поинтересовалась Йоне. И мне полегчало от этого вопроса.

– Я очень люблю тебя, Йоне. Понимаешь, я погорячился, когда-нибудь позже все тебе объясню. Ты могла бы подождать, пока я устроюсь, подыщу себе место? Больше я так не буду. Обещаю.

Дрожащей рукой я дотронулся до руки Йоне, и она не отняла ее.

– Я женюсь на тебе, Йоне. Хорошо?

– Хорошо, – отозвалась она. И поцеловала меня в щеку.

– Иди спать. Завтра встретимся у озера. Договорились?

– Договорились.

И я ушел домой. Больше я уже не видел, не чувствовал и не слышал убаюкивающей ночи.

Конечно, любовь наша продолжалась. Три года. Мы встречались в сосняке, здесь, в Аукштои Панямуне, в орешниках Еси, в моей комнате, у моего друга. И когда я начал обманывать Йоне, то все еще верил: в один прекрасный день мы поженимся.

Маленький городок. Серое озеро в котловине. Осушаемые болота, где по-прежнему бродили аисты, покрякивали чибисы, и порой слышались стенания утопленников, этих загубленных душ. Старый, разбитый, осклизлый тротуар. Трогательные в своей беспомощности маски. Духовой оркестр пожарного общества играл танго «Пантера» в темпе похоронного марша. Веранда в доме нотариуса. Семафор. Моя юность – прорвавшаяся стихотворением про повешенных и первой любовью.

Они втроем сидят в раздевалке на скамье и курят. Джо, Stanley, Гаршва.

– На следующей неделе отправляюсь в Филадельфию, – замечает баритон Джо.

– Зачем? Небось, девочка? – осведомляется Stanley. От него слегка попахивает. Он глотнул Whiskey. Stanley седой, хотя ему всего двадцать семь. У него дрожат руки, красный нос выдает наклонности его дедушки – обанкротившегося шляхтича из-под Мозыря. Он прямой и какой-то плоский. Stanley знает по-польски лишь несколько слов: DziQkujQ, ja Kocham, idz srac<sup>39</sup> и почему-то zasvistali-pojechali.

– Нет. Меня радиотелефон из Филадельфии приглашает. Они оплатят дорожные расходы, питание и отель, да еще в карман положу двадцать пять долларов.

– Ты их в банк положишь, – заверяет Stanley.

Круглое лицо Джо покрывается румянцем.

– Ну уж, разумеется, на ликер тратить их не собираюсь.

– А чего ж тогда краснеешь?

Джо сжимает кулак.

– Гороховая каша, – говорит Stanley и глубоко затягивается, жадно втягивая в себя сигаретный дым.

– Джо хочет петь. И это вовсе не смешно, – замечает Гаршва.

– А мне всегда смешно, когда разрезают рот, – спокойно возражает Stanley.

– А сам себе ты не смешон? – спрашивает Джо.

– И сам себе тоже. В таких случаях я сую в глотку горлышко бутылки.

Stanley стряхивает пепел сигареты.

– У моей девчонки вместо пупка дырка, – неожиданно произносит он.

Гаршва переглядывается с Джо.

---

<sup>39</sup> Спасибо, я люблю, иди (польск.).

– Через два года и ты так же заговоришь. После двухлетней работы лифтером в голове все перемешается.

– Да и двух лет ждать не придется. У тебя в голове все перемешалось еще в утробе матери.

– Послушай, Stanley, – раздражается Джо.

– Красиво! Вот это нота. Си-бемоль, кажется, – констатирует Stanley. Джо удивленно за ним наблюдает. Stanley принимается насвистывать.

– Угадай, откуда? – спрашивает он.

– Не знаю, – по-детски признается Джо.

– Это Моцарт. Аллегро. Симфония номер сорок. Си-минор.

Stanley поднимается, громко портит воздух: «угадай, откуда?» – задает вопрос и выходит в коридор.

– Странный парень, – говорит Джо.

Мы вдвоем выходим в коридор. Я должен сражаться и характером, и мозгами. Носиться в лифте и писать стихи. Это неважно, что я обессилел. Старичок Дарвин улыбается в окружении воспитанников Спарты. А кто мои ангелы-хранители? Несколько сумасшедших, которым и в раю не сыскать для себя спокойного местечка. Маленькая книжечка стихов – вот чего я жажду. Я даже начинаю молиться. Интересно, это знак силы или слабости? У меня не хватает сил искать ответ в книгах. Переизбыток. Выколи глаз, отсеки одну руку – предлагается в Писании. Который глаз и которую руку? Ведь я многорук и многоок. У меня сотни глаз и сотни рук.

И снова «back» лифт, снова lobby, снова девятый номер. Да, госпожа, нет, мисс, о да, масоны, кардинал, шиншиллы. Стрикт-стрикт по лугу, задрал хвост, разве это не высшая благодать? И зубами, и ногтями, и всем телом! И кровь, которая отныне уже не противна. И сознание, которого просто больше нет.

## 6

В 1941 году Антанас Гаршва партизанил. Красные отступали, оставляя Каунас. Разрозненное отступление под натиском немецкой армии порождало анархию. Иногда красноармейцы бросали оружие и засыпали прямо в придорожных канавах. Их могла взять в плен любая мирная девушка, и просили они только хлеба и воды. Бывало, что красные насиловали мирных девушек и протыкали штыками тех, кто попадался на пути. Партизанское движение возникло стихийно. Вместе с известием об отходе красных.

Борьба велась по принципу игры в прятки. Из гущи деревьев, из-под разрушенных мостов выскакивали человеческие фигуры и сцеплялись в смертельном объятии. Неизвестно откуда залетевшие пули прорежали листву, выбивали стекла в летних домиках Аукштойи Панямуне. А дни и ночи сменяли друг друга такие погожие, ясные, безветренные.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.